

АНДРЕЙ БИТОВ

УРОКИ АРМЕНИИ

Путешествие в небольшую страну

... Лёгкий одинокий минарет
свидетельствует о бытии исчезнувшего
селения. Он стройно возвышается между
грудами камней, на берегу иссохшего потока.
Внутренняя лестница ещё не обрушилась. Я
взобрался по ней на площадку, с которой уже
не раздаётся голос муллы. Там нашёл я
несколько неизвестных имён, нацарапанных на
кирпичах проезжими офицерами. Суета сует!
Граф *** последовал за мною. Он начертил на
кирпиче имя ему любезное, имя своей жены —
счастливец, — а я своё.

Любите самого себя,
Любезный, милый мой читатель.

Пушкин. «Путешествие в Арзрум»

УРОК ЯЗЫКА

Азбука

Да простит мне Армения, небу её идёт самолет! Я вышел на поле — горячий и чистый ветер ударил в лицо. Он был очень кстати после вчерашнего. Я оглянулся и счастливо посмотрел вверх — там увидел я самого себя несколько мгновений назад, — там, разворачиваясь, садился самолёт, а небо было самого аэрофлотовского цвета, как тужурка у стюардессы, а самолётик — как крылышки в её петличке... Я шёл к зданию вокзала: ЕРЕВАН.

ԵՐԵՎԱՆ

Ага, значит, вот эта штука — Е, вот эта — Р, а эта опять Е...

Так и запечатлелся во мне первый кадр: ветер и выгоревшая трава, которая не то чтобы стелилась по ветру (она была слишком короткой для этого), но была навсегда им причёсана. Ветер подталкивал меня к Еревану. Это, значит, В, а это вот А, а это уже Н. Красиво.

Потом я ждал свой чемодан, привычно размышляя о том, стоит ли так быстро летать, чтобы столько же ждать свой багаж. Будто он ещё летит, а только я уже прибыл.

Вокзал, по моему убеждению, не место для естественного человека, но этот был не совсем похож на мои прежние вокзалы. Тут было по-южному гортанней и шумнее, но одновременно почему-то и спокойней. Конечно же, толкучка, даже более темпераментная, но как-то вроде и не толкается никто... Не было тут той затравленности пассажира, где каждый сам по себе — боится за чемодан, боится опоздать, боится быть обиженным и обойдённым, — и оттого появляется в нём автобусная вокзальная твердоватость и туговатость, и сам он становится похож формой и твёрдостью на свой

фанерный чемодан с царапающими и цепляющими углами, и лицо — как замок. Такой заденет плечом — синяк будет.

Тут толкотня была другая — базарная, мягкая, — где перешагивают чемоданы, как арбузы и дыни. И в ожидании нет трагедии: можно взвеситься на аэрофлотовских весах, красивых, как часы... Взвешивают детей, взвешивают бабушек, взвешиваются сами. Никто их не гонит и не кричит на них, как ни странно. Я приехал с желанием, чтобы мне здесь нравилось, и мне нравилось.

Весил же я всё столько же. Тридцать лет от роду. Весы показывали 7 сентября 1967 года. Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник.

ԱԷՐՈՖԼՈՏԻ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..

Права-обязанности пассажира Аэрофлота

Вот что было написано этими удивительными буквам! Это утверждал справа уступивший первое место, подчинённый, как и положено переводу, русский текст. Но раз такие родные «не курить, не распивать, выхода нет» были переводом с армянского, не означало ли это, что армяне — вот кто ввёл их в наше российское обращение? Не может быть. Значит, тут имел место редкий случай перевода справа налево или воссоздания оригинала по подстрочнику.

Поразительно всё-таки прочна природа уважения к печатному слову — ничем его не подорвать. Стоит столкнуться с чужим языком — и благоговение перед таинством грамоты, как у подписывающегося крестом. Трудно тогда поверить, что записать можно что угодно, так же как и сказать. Трудно поверить в безразличие таких мудрых и совершенных букв к словам, ими составленным. «Буквы... Ну подумаешь, буквы! — увещевал себя я. — Разве что красивые. Русские, что ли, некрасивые? А ими что угодно пиши — это же меня не смущает... — И только тогда подумал: — Ладно, пусть. Пусть с русского на армянский, хоть и справа налево... Но разве это русский — то, что справа?.. С какого же это злого языка на русский-то переведено?»

Если уж очень многого ждать от встречи, то можно забыть сказать «здравствуйте». Никогда бы не предположил, что после палочек и ноликов первого класса буквы могут стать ещё раз предметом волнений и даже страстей... Однако если не первый, то второй вопрос, который мне был задан на армянской земле, был: «Ну, как тебе нравится наш алфавит? Правда, очень? Скажи, только честно, какой тебе больше нравится, твой или наш?»

Да простит мне Россия, я готов согласиться: наш алфавит проигрывает... У «великого, могучего, правдивого и свободного» (Тургенев) не убудет от такого заявления.

Собственно, раньше я о достоинствах нашего алфавита почему-то не задумывался. Разве что мне казалось неверным набирать классиков по новой орфографии — они-то ведь не по ней писали. Мне не хватает фиты в имени Фёдор, например, и-десятеричного в слове «идиот» и кое-где твёрдых знаков, в конце некоторых слов. (Так же и рождались классики не по новому стилю, а по старому: привыкали к числу и месяцу своего рождения... и число это что-нибудь для них значило). Не переименовываем же мы в их произведениях города и улицы в соответствии с названиями нынешними, не переводим цены в новый масштаб цен... Такие мелкие вопросы досуже возникали во мне. А так я не обращал внимания на наш алфавит, не замечал его, более вслушиваясь в слово, чем всматриваясь в него.

Задумался я об этом, лишь присмотревшись к армянскому алфавиту и наслушавшись чужого звучания речи. Это великий алфавит по точности соответствия звука графическому

изображению. Тут всё цельно и образует круги. Цепкость армянской речи («дикая кошка — армянская речь») так соответствует кованности армянских букв, что слово — начертанное — звякнет, как цепь. И так ясно представляются мне эти буквы выкованными в кузнице: плавный изгиб металла под ударами молота, слетает окалина, и остаётся та радужная синеватость, которая мерещится мне теперь в каждой армянской букве. Этими буквами можно подковывать живых коней... Или буквы эти стоило бы вытёсывать из камня, потому что камень в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и твёрдость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит вспомнить очертания армянских крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием). И так же точно подобна армянская буква своим верхним изгибом плечу древней армянской церкви или её своду, как есть эта линия и в очертаниях её гор, как подобны они, в свою очередь, линиям женской груди, настолько всеобще для Армении это удивительное сочетание твёрдости и мягкости, жёсткости и плавности, мужественности и женственности — и в пейзаже и в воздухе, и в строениях и в людях, и в алфавите и в речи. В армянской букве — величие монумента и нежность жизни, библейская древность очертаний лаваша и острота зелёной запятой перца, кудрявость и прозрачность винограда и стройность и строгость бутyli, мягкий завиток овечьей шерсти и прочность пастушьего посоха, и линия плеча пастуха... и линия его затылка... И всё это в точности соответствует звуку, который она изображает.

Я по-прежнему не знаю армянского языка, но именно поэтому ручаюсь за правду своего ощущения: передо мной был только звук и его изображение, а смысл речи был за моими пределами.

Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным чувством родины — был создан однажды и навсегда, — он совершенен. Тот человек был подобен богу в дни творения. Создав алфавит, он начертал первую фразу:

ՃԱՆԱԶԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԶԽԴԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՂՈՅ.

На этот раз фраза то и значила, что было ею начертано:

Познай мудрость, проникни в слова гениев.

Начертав (именно не написав, не нарисовав), он обнаружил, что не хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор стоит армянский алфавит.

Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не хватило одной буквы. Это могло только быть. Значит, был и такой человек. Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц.

Я бы поставил Маштоцу памятник в виде той последней буквы — каменное доказательство его правоты.

Человек, мало-мальски наделенный чутьём и слухом к слову, никогда не усомнится в существовании творца... Когда была опубликована статья русского учёного-филолога, ставящая под сомнение реальное существование Маштоца, кто её заметил, кто её прочёл, кроме горстки специалистов? Вся Армения. И до меня, приехавшего год спустя, всё ещё доходили отголоски национальной бури. Чтобы взрослые люди и так волновались из-за каких-то букв...

Я испытал удивление и чувство неловкости. В течение одного дня я знал об истории армянского алфавита больше, чем об истории русского. Мне пришлось приблизить к себе никогда не волновавший меня вопрос...

Слово — самое точное орудие, какое было когда-либо у человека, но филология ещё не достигла точности угаданного слова. Ей пристала скромность. Она при слове, а не слово при ней. Сомнение в существовании Маштоца оскорбительно для армянина. И я

прекрасно понимаю его. И уж во всяком случае такой алфавит не мог быть плодом трудов коллектива учёных-языковедов. Это уж точно.

Армяне сохранили алфавит неизменным на протяжении полутора тысяч лет. В нём древность, история, крепость и дух нации. До сих пор рукописная буква не расходится у них с печатным знаком, и даже в книгах, и типографском шрифте существует наклон руки писца. Рукопись переходит в книгу, почти не претерпевая графических метаморфоз. И это тоже замечательно.

Прогресс, врывающийся в словарь, в правописание, унификация правил, упрощение начертаний — дело, полезное для всеобщей грамотности, но не для культуры. Охрана языка от хозяйственных поползновений так же необходима, как и охрана природы и исторических памятников. Стоит вспомнить кириллицу — насколько она ближе по своей графике русскому пейзажу, русской архитектуре, русскому характеру...

Пресловутый анекдот об учителе гимназии, покончившем с собой из-за отмены ятей, в Армении не пользовался бы успехом. Он бы не был смешон. Такой человек в Армении мог бы быть национальным героем.

Больше всего меня веселит, что реформа правописания сэкономила много бумаги, что на одни отменённые твёрдые знаки в концах слов в «Войне и мире» набегает целый печатный лист, а в общегосударственном масштабе... Но эта экономия не перекроет макулатурного потока.

Букварь

Ереван — моя азбука, мой букварь, мой каменный словарик-разговорник. Слева — по-армянски, справа — по-русски. Только слова в беспорядке. Рядом с А — автоматом — Ш — шашлычная. А Б — базар — совсем на другой улице, через несколько страниц.

Я шуршу страницами кварталов, улиц и площадей в поисках Р — редакции, Д — друга, Ж — жилья и П — просто так. Это мой русско-армянский словарь.

Но если бы я знал армянский и мог пользоваться Ереваном как армяно-русским словарём, порядка, конечно, было бы не больше. Это меня утешает.

Но я нахожу своего друга, и у меня появляется учитель. Ему попадаете малоспособный ученик, с памятью восторженной и дырявой. Но у учителя появляются помощники. Я попадаю в сладкий плен — у друга есть мать жены, жена брата, друг брата и брат друга. Я познаю всю прочность армянских родственных связей и опутан этой цепью, и каждый мой новый час прибавляет новый виток. И мне уже не бывать одному никогда...

— Андрей, сурч — это что такое?

Я ещё ни разу не угадал и теперь молчу, улыбаюсь смущённо.

— Андрей, сурч — это хорошо или плохо?

И все ласково смеются над моим замешательством.

— Андрей, хочешь сурч?

— Хочу.

— Молодец. Пятёрка.

И мне несут кофе. И так хорошо у нас не варят кофе...

— Андрей, дзу — это что такое?

— Андрей, дзу — это хорошо или плохо?

— Андрей, какое слово, по-твоему, лучше: дзу или яйцо?

И я ем дзу. Таких яичниц я не ел никогда в жизни. О, нищая глазунья.

Хоровац, бибар, гини... Я поедаю наглядные пособия.

И всё это хорошо... Только есть так много — плохо...

Учат и сами учатся.

— Я пришла, — говорит мой друг, — как правильно: пришла или пришёл?.. Я пришёл

к сестру... Как правильно: к сестра?..

И когда они устают ломать свою голову и язык переводом таких простых и понятных слов, таких прекрасных, на чужой, мой, язык, устают путаться в падежах и родах, они вдруг соскальзывают счастливо на родную речь и начинают отдыхать в ней между собою; я тем временем опять ем, всё ещё ем и ещё раз ем, ем за всех: за маму друга и за папу его жены, за друга его брата и за брата его друга, разве что за друга своего не ем (он-то может оказать мне такую услугу)... Зато, пока я ем, они могут хоть поговорить спокойно.

И когда они наконец погружаются в покалывающие, как горная река, воды своей речи, я вдруг испытываю ту же лёгкость, что и они, с меня спадает эта невнятная неловкость, и мне радостно слышать чужую речь. И не только по причинам, приведённым выше. Впервые в жизни я поймал себя на том, что, не понимая языка, я слышу то, чего никогда не слышу в русской понятной мне речи, а именно: как люди говорят... Как они замолкают и как ждут своей очереди, как вставляют слово и как отказываются от намерения вставить его, как кто-нибудь говорит что-то смешное и — поразительно! — как люди не сразу смеются, как они смеются потом и как сказавший смешное выдерживает некую паузу для чужого смеха, как ждут ответа на вопрос и как ищут ответ, в какой момент потупляются и в какой взглядывают в глаза, в какой момент говорят о тебе, ничего не понимающем...

И ещё, когда они говорят со мной, то есть говорят по-русски, они никогда не смеются. Стоит им перейти на армянский — сразу смех. Словно смеются над тобой, непонимающим. Так вполне может показаться, пока не поймёшь, что смеяться возможно лишь на родном языке. Мне не с кем было посмеяться в Армении...

Если им бывало уж очень смешно, отсмеявшись, они спохватывались. Улыбка смеха сменялась улыбкой вежливости — подчинённая жизнь лица, — ко мне поворачивались. Та, невольная, улыбка сходила ещё не сразу, память о смехе тихо таяла в глазах, и в них отражался я, моё наличие. Их лица приобретали чрезвычайно умное и углублённое выражение, как в разговоре с иностранцами на плохом языке, когда, чем глупее разговор, тем значительнее интонация, а киваний и поддакиваний не сдержать никакими силами... После таких разговоров ноют мускулы лица и шеи от непривычной, неестественной работы.

Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви... На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека — два языка не покажешь.

Чуть ли не так, что чем тоньше и талантливей поэтическое и живое знание родного языка, тем безнадёжней знание чужого, и разрыв невосполним. Как остроумен мой друг, по-русски мрачный, почти унылый человек... Каждая его фраза по-армянски встречается таким радостным, неподвластным смехом... «Ах, как жаль, что ты не понимаешь его армянский!» Как жаль... Вот ещё и кроме армянского существует его армянский! Но ведь и кроме их русского существует в нашем русском мой русский...

Мне не с кем было посмеяться в Армении. И я был счастлив, когда обо мне забывали. И был счастлив журчанием и похрустыванием армянской речи, потому что у меня было полное доверие к говорящим. Антипатия к чужой речи в твоём присутствии — прежде всего боязнь, что говорят о тебе, и говорят плохо. Откуда эта боязнь — другой вопрос. Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу. Среди дипломатов, допустим. Мы же доверяли друг другу. Более того, мои друзья были настолько тактичны, что при мне договаривались насчёт меня именно на своём, непонятном мне языке, чтобы я не подозревал о всех тяготах организации моего быта: поселения, передвижения, сопровождения и маршрутов. Опять забываю, что им было легчи так договариваться...

Я слушал чужую речь и пленялся ею. Действительно, что за соединение жёсткого, сухого, прокалённого и удивительно мягкого, «нежного» — как сказал бы мой друг! Как жёсткая, прожжённая земля и сочный плод, созревающий на ней... Хич — россыпь мелких камней, джур — вода, журчит в этих камнях, шог — жара над этим камнем и водой, чандж — муха, звенит в этой жаре. Хич, джур, шог, чандж — и вдруг среди всего этого лолик — помидор.

Хич, карь — конечно, это не наш камень, это их камень. Что ка-мень? — лежит на дороге... Джур — это их вода, она холодная и журчит под этими камнями, и её мало... Что им наша во-да?.. Так много воды в этом слове, и сверху и снизу... Чандж — разве это наша нарисованная муха?.. Дехц — персик... Тут же есть кожа персика, в этом слове, его пушок, ворсинки!.. А что такое пер-сик? От перса... Просто иностранный фрукт.

— Андрей, что лучше: кав или глина? Арагил или аист? Журавль или крунк?

И действительно, что лучше? Подумать только, журавль! — и не подозревал, что это так красиво. Или — крунк... До чего хорошо!

Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским...

— Что лучше: цов или море?

И вдруг не чувствую «море», в нём нет волнения, зеркало, и вдруг сочувствую слову «цов» — вижу, в нём волну набегающую... но волна, оказывается, вовсе не цов, волна — алик, нежно лижет берег. Но если бы цов было только море! А цов — это и море, и тишина, цов — это тоска в красивых глазах и просто красота, цов — это народ толпою и просто «много»...

Созвучия

майр — мать

сирд — сердце

серм — семя

мис — мясо

гини — вино

... — ...

Но камар — это вовсе не комар, камар — это арка.

А арка — это вовсе не арка, арка — это царь.

А цар — это вовсе не царь, цар — это дерево.

пар — танец, пляска

гол — тепло

цех — грязь

... — ...

Но парение есть в пляске, голое и тепло — так близко... Дерево, конечно же, царственно, и всё это натяжка, а вот что цех это грязь — точнее не скажешь.

— У вас есть слово «атаман», — говорит мне друг, — а у нас «атам» — это зуб, клык. Поэтому, когда я в детстве книжки читал, всё думал, что атаман — это человек с клыками...

— А я думал, что он на оттоманке лежит, — говорю я.

— У вас есть слово «хмель», — объясняет мне друг рано утром на первом уроке, — а «хмел» по-армянски значит «выпить». Поэтому у нас прижилось ваше слово «похмелье».

— Андрей, аствац — что такое? — строго спрашивает друг.

— Андрей, аствац — это хорошо или плохо?

- Аствац — это хорошо, — говорю, — аствац — это отец.
— А ведь верно! — удивляется мой друг. — Кенац!*

Прямая речь

Аё — по-армянски «да». Чэ — по-армянски «нет». Не знаю почему, но всюду — на улицах, в магазинах, в автобусах — я чаще слышу «чэ», чем «аё». Чэ, чэ, чэ. Обычный автобусный диалог представлялся мне так: один всё спрашивает, наседает, а другой отвечает «чэ, чэ», а потом, наоборот, другой всё спрашивает, а первый отвечает своё «чэ». Я так сам понял, что «чэ» по-армянски «да», и спросил друга: а как по-армянски «нет»? А он мне и говорит: «Чэ». — «Как «чэ»? — воскликнул я. — А как же тогда «да»? — «Аё». Вот как я ошибся. Думал, теперь разберусь... Но так я ни разу и не услышал «аё», а всё «чэ».

Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал. И смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя и за него. Дело в том, что в Армении, наверно, нет другого такого человека, кому бы русский язык доставлял бы столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать.

И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. (Это я обмолвился, учитывая, что он журналист). Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передавать речь его в точности я не берусь — никто не поверит...

— И ты будешь про нас писать? — сказал он.

После этого он стал разговаривать со мной так: увидит — арбузы везут...

— Это армянский арбуз, — говорит.

Увидит ослика...

— Это армянская ишак, — говорит.

— Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенный армянский такси. Поедем, хочешь?

Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело? Я уже не обижался, а думал: почему он так?

Наконец он устал.

— Только не пиши, пожалуйста, — сказал он, — что Армения — солнечная, гостеприимная страна.

Помолчал и добавил:

— Я вот сколько живу тут и пишу, а всё не написал, какая она.

— Знаешь, — сказал я искренне, — это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за две недели? Что пойму? Серьёзно не напишешь, а несерьёзно об Армении я уже писать не могу... И потом, если рассудить, разве бы я сам, для собственной радости, не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу «спасибо». Тем более что я же не работаю в газете и от неё не завишу.

* Аствац — бог. Кенац — приветствие, аналогичное «Твоё здоровье!» (арм.).

— Ну зачем же возвращать?! — возмутился брат друга. — Почему же это ты не напишешь?.. Поживи ещё. Напишешь... — сказал он, и этой его интонации я уже совсем не понял: «напишешь» — это хорошо или плохо?

И вот кончилось моё путешествие, вот я дома, вот я мучился, мучился, гуляя вокруг стола, и вот всё-таки сел за машинку.

И что же я вывел в первой фразе?

«Армения — солнечная, гостеприимная страна».

И что же я вдруг услышал?

— Чэ, чэ, чэ! Чэ, Андрей, чэ!

— Да, но это же так! — Я покраснел.

— Чэ, Андрей, чэ!

Я поднатужился:

«Армения — горячая, многострадальная земля».

— Чэ.

— Ну какая же она, твоя Армения?! — взвился я.

— Знал бы, сам написал.

— Ну скажи хоть лучше, чем я! Смотри, я сказал: горячая... Разве сразу найдёшь такое слово? Именно горячая. Тут всё горячо: небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей...

— Чэ, Андрей.

— Ну скажи лучше, попробуй!

— Попробую... Армения — моя родина.

— Ты прав. Но не моя же! Я не могу так написать!

— Зачем же пишешь?

— Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?

— А очерк по-армянски знаешь как?

— Нет...

— Акнарк. А «акнарк» по-русски знаешь что?

— ? ? ?

— Намёк.

Намёк

Да, когда я писал о созвучиях, я пропустил одно: уш. Уш — это не уши. Но близко. Уш — это внимательный. Зато апуш — это не просто невнимательный, что было бы логично. Апуш — это идиот.

УРОК ИСТОРИИ

Лео

Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещённых своих знакомых (дедушки нет в живых...), прогуливаясь с которым я бы слышал следующее:

— Вот здесь нашли тело Распутина.

— А вот здесь останавливался Наполеон.

Или:

— Вот видишь горку, за ней роща, вот оттуда, когда мы уже отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско...

В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый.

Такое впечатление, что в Армении нет начала истории — она была всегда. И за своё вечное существование она освятила каждый камень и каждый шаг. Наверно, нет такой деревни, которая не была бы во время оно столицей древнего государства, нет холма, около которого не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политого кровью, и нет человека, которому бы это было безразлично.

— Андрей, посмотри, во-он та гора, видишь? А рядом другая... Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно...

— Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад. Раньше тут жили молукане.

— А вот тут Пушкин встретил арбу с Грибоедом...

И так без конца. Это мне говорили шофёры и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети.

И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке — ЛЕО. Я видел её и в тех домах, где, в общем, книг не держат, — тот или другой из трёх синих томов ЛЕО.

Лео — историк, написавший трёхтомную историю Армении. И очень популярный. Как наш Карамзин или Соловьёв.

Я спрашиваю русских:

— Вы читали Карамзина?

— Ну а вот недавно переиздали Соловьёва, читали?

Вряд ли я найду том Соловьёва у шофёра или прораба строительных работ. У писателей-то в лучшем случае у одного из десяти.

Я, например, не читал.

А Лео читают и читают. Всюду Лео. Читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал и ничего другого в жизни не знал, с утра до вечера он писал, каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Но он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернил.

И, слепой, писал с утра до вечера.

И написал.

И умер.

Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал.

А он и не заметил.

Такая легенда.

Господи, что он написал?!

Матенадаран

Если многое считается замечательным в современной армянской архитектуре, то Матенадаран — самый замечательный пример этого «замечательного». К тому же построено здание только что, и буквально в наши дни, то есть в мои и ваши.

Начать с того, что назначение строения самое почтенное. Это хранилище древних рукописей. И поскольку армяне очень давно пользуются своей дивной письменностью, то рукописей этих, несмотря ни на какие национальные беды, сохранилось великое множество, и каждая из них уникальна и уже не имеет цены. И хранить это национализированное национальное сокровище необходимо бережно и достойно. Тоже понятно.

Матенадаран построен для этой цели. Отвечая своему назначению практически и технически, он ещё и воздвигнут как памятник многовековой и великой культуре.

И так всё отлично выполнено, что ни к чему не придерёшься. Во всём видны благородные намерения строителей, и к тому же намерения эти вполне выражены. И место выбрано — издалека виден Матенадаран, ничто не заслоняет его, и в стороны ему просторно, и за ним уже ничего не толчется — дальше горы. И он спадает с этих гор таким строгим гранитным отвесом, как водопад, а ниже, куда он спадает, пенятся лестницы, разливаясь в струи и сливаясь внизу в одну, главную, приближаясь к которой ты обязан неизбежно ощутить высокий строй, а когда ставишь ногу на первую ступень, уже испытываешь трепет, а по мере подъёма, когда на тебя надвигается отвес Матенадарана и всё выше и вертикальней нависает над тобой, трепет этот как бы переходит в холодок в спине. И когда, приближаясь, ты всё уменьшаешься, уменьшаешься, а над тобой всё растёт и растёт здание, это, по-видимому, символизирует величие и огромность человеческой культуры, и твою затерянность в ней. Но — вкус во всём. Такой светлый, серый камень, что и строго и не мрачно. И такие линии, и прямые и мягкие, что сразу же ясна и великая традиция армянского зодчества, и одновременно полное овладение всеми достижениями современной архитектуры с её обнажённым назначением и эстетизированной простотой... Бездна вкуса. То есть нигде не видно безвкусицы. Вот, например, на этом повороте лестницы, на этой чистой дуге вполне могла бы стоять ужасная ваза — а не стоит. Голое место, прекрасная, ничем не запятнанная плоскость. Место для вазы есть, а вазы нет.

Я уже начинаю злиться на эту безупречность и что авторов нигде вкус не подвёл... А может, и подвёл их именно вкус? «Эта церковь построена со вкусом» — попробуй выговори такую фразу — абсурд. Или «изба со вкусом» — тоже не звучит. Между тем и церковь и изба — это самые чистые формы, они отвечают только своему назначению, и, чем точнее отвечают, тем прекрасней. Граница между зодчеством и архитектурой вдруг впервые намечается для меня. Никогда не задумывался над этим, лишь в Ереване, где так много замечательных образцов, находящихся по ту и по сю сторону этой границы...

Я поднимаюсь по лестнице и не трепещу. Жара мешает, одышка. Вдруг что-то деревянным глухим забором обнесено: мусор, свалка, не всё ещё доделано... Заглядываю. А там огромные камни в тогах стоят. Тоже очень современно и глубоко исполняется. Камень иногда сохраняет свой естественный излом, и то формы человеческие незаметно произрастают из случайных линий необработанного камня, то эти линии растворяются в естественной цельности камня. Крупные люди в плавных ниспадающих одеждах (как приятно передать в камне эту крупную вертикальную складку во весь рост!), и крупные, без лишней толкотни в чертах, лица с достойным и несуетливым вдохновением. Их несколько, таких людей. Но один ещё в лесах, один начат едва, а третий почти готов. Словно каменная кинолента о создании одной и той же скульптуры, немножко напоминающей памятник Дзержинскому в Москве (из-за шинели до пят) и

Тимирязеву (из-за оксфордской тоги), только гораздо, гораздо современнее. Эти великие люди (по-видимому, именно величие так сравнило и уподобило их), которые написали те великие книги, что хранятся в этом величественном здании — такая цельность замысла, — будут стоять — ага! — на тех столь прекрасно свободных от ваз площадках. Только несколько позже, когда они все вместе будут готовы, отличаясь лишь оставленным свободным нетронутым камнем, будто уходя в эту земную твердь, с которой они так связаны... Так по-разному, так одинаково высывались они теперь из этой тверди, как в своё время из неё же произрастали. Такие, со взглядом в будущее, в наши дни.

Да и всё строение как бы смотрит в светлое будущее, соответствуя авторским представлениям о нём.

Это величие замысла в дверях достигает наивысшей точки (как бесконечно взлетают вверх мощные плоскости) и обрывается в холле. Там уже новый строй — бесшумности и шепотливости, где-то там, впереди, склонённые вдумчивые головы наших современников, творящих новую жизнь на базе всех знаний, накопленных человечеством, истинные хозяева этих духовных богатств.

Именно с таким прищуром очутился я в некоем квадратном зале. Надо мной была стеклянная крыша, как в оранжерее, стены же были чёрные, с глубокими тенями, и там, из тени, тянулись к свету пюпитры на тонких ножках. На пюпитрах, отворённые, лежали книги.

Я пожал руку молодого тоскующего сотрудника, прозвучали наши неуместные здесь имена. Словно нехотя подвёл он нас к одному из пюпитров...

Это была биография Маштоца, написанная его учеником. Отсюда почерпнуты основные сведения о жизни великого буквотворца.

На соседнем пюпитре лежал старательно переписанный конспект по ботанике. Тысячелетний школяр рисовал на полях цветочки.

Ещё в двух шагах крутились звёздные сферы, пересекаясь и разбегаясь в милом и изящном чертеже, а земля так удобно покоилась на чём-то вроде трёх китов.

Сам тому удивляясь, в тысячный раз поневоле оживился экскурсовод. И правда, от рассыпающихся страниц до сих пор веяло жизнью, простой и ясной. Будто вся смерть ушла в новенькие стены Матенадарана.

Матенадаран — этажи под землю, и там, в кондиционированных казематах, книги, книги...

— А что, они все прочтены, изучены, описаны?

— Нет, что вы! Ничтожная часть. Они ещё не переписаны даже в каталог. Эта работа потребует ещё десять лет.

Если представить себе, сколько потребуется времени и терпения, чтобы переписать от руки чужую книгу, то какой дурак возьмётся за это в современном нам мире? Между тем, разглядывая чудесный цветок заглавной буквы, понимаешь, что переписчик, возможно, едва управлялся с ней за день.

Этих книг — десятки тысяч.

Сколько же у людей было времени в те времена! И сколько они успевали!..

Успевали они ровно столько же. А может, и больше.

Они не спешили, и дела их обретали время. В сыновьях и изделиях продолжался человек. Изделия дошли до нас, утратив имя автора, но как безусловно, что каждое из них создано одним когда-то жившим человеком!

Лечебник, травник, звездник, требник...

Вот такой травкой следовало лечить человека от вот такой болезни... И травка и болезнь называются теперь иначе и, возможно, уже не имеют отношения друг к другу. Другим лекарством лечат ту же болезнь под другим названием. Но суть-то в том, что

болезнь — та же и так же принадлежит человеку, которого надо чем-то лечить.

Как много люди знали всегда! Как легкомысленно полагать, что именно наш век открыл человеку возможность пользоваться тем-то и тем-то, до того никому не известным...

Как много люди знали и как много они забыли!

Сколько они узнали, столько они забыли.

И сколько они узнали и забыли зря!

Развалины (Звартноц)

Словно бы зрение болезненно моему другу... Чтобы увидеть каждую следующую достопримечательность, ему надо на это решиться. И он заставляет себя. Для меня. Меня ради. Это исполняет меня благодарности и неудобства. Хотя ни он, ни я не показываем этого друг другу, да и не осознаём... Что-то сопротивляется в друге перед каждой следующей экскурсией. Конечно, он всё это зрит не в первый и не в десятый раз. Конечно, тяготы гостеприимства. Но и тяготы эти привычны. К тому же достопримечательности таковы, что их, конечно же, можно видеть бессчётное число раз: они не исчерпываются и от них не убудет. К тому же не показать их мне тоже невозможно и не полюбить их мне — нельзя. Но почему-то снова взглянуть на то, что прекрасно и любимо, трудно моему другу.

И он отправляется в очередную экскурсию...

И когда он снова видит эти камни, уныние вдруг разламывается у него на лице, он успокаивается и светлеет. На меня он совсем не смотрит, и вовсе не потому, что хочет спрятать какие-то чувства. И мне кажется, что он не хочет увидеть в моих глазах, что я не понимаю. А когда он всё-таки встречается со мной взглядом, то говорит, опять в сторону:

— Я хочу, Андрей, понимаешь?.. Я хочу, чтобы ты устал-устал, чтобы всё это солнце-солнце, эти камни... и ты вдруг почувствовал позвоночником... понимаешь, позвоночником?.. как ты устал...

— Понимаю, — поспешил кивнуть я, — хребтом...

Друг не продолжал. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигала дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Он так же глубоко проникался своей прислонённостью к великому, как вахтёр проникается своей государственностью. Вся эта праздность наблюдательности, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни и так я стыдился этой своей бесчувственности, тайком пощупывая поясницу и чуть ли не ожидая этой спасительной, всё объясняющей боли в позвоночнике. О это мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь? И уже почти подсказывал мне мой симулятивный организм эту боль, как тут мы все уходили, насмотревшись, и уже фотографировались или арбуз ели. И я с чувством новичка радостно впился в прохладную мякоть, как только позволил себе это мой друг. А он себе тут же это позволил, будто это он всего лишь образно сказал про «позвоночник».

Но вот и мысль меня наконец посетила — на этих развалинах. Или на других... Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом ещё раз и потом ещё, чуть ли не в наши дни. И как, однако, много осталось! В первый раз, когда рушили, то и разрушить, кажется, не удалось, а лишь — в третий раз. Потому что глыбы — два на два, допустим, метра, да обработаны так гладко, да уложены так плотно, да ещё в сердцевину глыбы свинец залит, чтобы потяжелее была и поосновательней лежала. Строили навсегда. Но потом каким-то туркам, или арабам, или ещё кому-то понадобился свинец для пуль — вот тогда только и расковыряли наконец... И то, смотрите, величие какое!

Простая мысль... Когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического

времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия. Капля долбит камень... И каждый день уносит... Ещё что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолётности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как это всё не так и не то!

Это только кажется, что мощностъ времени... Не время, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправится с храмом время — потом когда-нибудь и без них, — и нетерпеливо разрушали сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени... «Время разрушать и время строить». Даже в Библии «разрушать» — сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягченный и идиллический, наводящий на размышления о времени.

И в таком виде развалины стоят уже вечно.

Связь времён

Я мечтал бы жить сию секунду. В эту секунду, и только ею. Тогда бы я был жив, гармоничен и счастлив. Живу же я где-то между прошлым и настоящим собственной жизни в надежде на будущее. Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоящим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереальной, да и не-жизнью. Я всё надеюсь с помощью чудесного усилия оказаться исключительно в настоящем времени и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти.

Даже внутри одной жизни отношения со временем (физически) так сложны. А если к этому прибавить отношения с временем историческим? А если продолжить мысленным пунктиром отрезок личного времени в прошлое и будущее, за твои временные границы? Если взять твои отношения уже не с историческим временем, а с временем истории? И если соотнести время истории с временем вечности?

Голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами?

Для простоты употребления времена связывают историей...

«Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени?» и т. д. — такие мысли однажды посетили меня...

...В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин. На воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, препоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых Мекк тут не присутствовало, что ему просто неинтересно было ехать в Эчмиадзин.

Но мне-то туда обязательно надо было ехать. Будет католикос. Будет петь преемница Гоар... И вообще — посмотреть.

Толпы людей на автобусных остановках — все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уже эти-то, свои люди, сколько раз всё видели и слышали, а едут — это ещё убеждало меня. Толпа была очень интеллигентна.

Толпа интеллигентов — не часто встречающийся вид толпы и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя не подчинённым законам толпы, а все вместе всё равно составляют толпу. Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон, интеллигент-ценитель тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своём личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них, напряжённо и вытянуто, выражено, будто это не их толкают и не они сейчас остро и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент всё-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от

другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился лицезрением поразительно красивой девушки с таким прямым золотеньким крестиком на шее, полупогружённым в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на неё сколько угодно — деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно.

Так выдохнуло нас наконец в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью.

Но тут уже, на просторе, начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был «весь Ереван», и все знали брата моего друга, а я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть и его друга, и после рукопожатия уже был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении — так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм: имея десять знакомых на один квадратный метр, снова перестаёшь быть с ними знакомым. Но тут уже можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение.

Ну, я населил это пространство и теперь могу рассказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача: рассказать, как я не видел.

Мы прошли в парк, и перед нами выросло древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он построен в конце прошлого века, а не шестнадцать веков назад; может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так всё подновлялось и заменялось, что уже всё и заменено, и хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новой бывает только посуда. Вдруг реально: свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая — понятно. «Что это?» — «Это бьют голубей, головой об стенку». — «Для чего?» — «Приносят в жертву». — «Кому?» — «Богу». Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись; голуби у них живые, связками, на продажу для жертвоприношений — тоже нормальные мальчишки, своего возраста, не старше и не моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались... Толпа из автобуса, но — в храм; служба идёт, ритуал — всё чинно, красиво: что за одежды, какие лица! Справа, чуть ли не на эстраде, певица поёт, замечательно поёт, голос — дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего — музыка.

Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар: в одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвёртом глазят. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чём дело? Да верующих же нет! Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шея болят, а верующих нет. То есть направо — филармония. Налево — театр. Сзади — любопытство. И лишь впереди, на коленях, тщеславие завсегдатая. А кто протолкался вперёд — уже и насмотрелся, да назад ходу нет. А служба течёт своим чередом, а таинство её никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курения, но одежды и через десять минут те же, и лица, и запах — развитие неясно. И я... Почему я так всё это вижу? Чем у меня голова забита!.. Просто срам.

Тут хоть ребёнок заплакал искренне — маму потерял, такое облегчение на лицах: понятное это, ребёнок плачет — даже души в телах задвигались: по-понятному, сочувствие. И рад бы от стыда хоть знамением себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. «Католикос! Католикос!» — наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то!

И такое передвижение началось, чтобы подвинуться поближе, водоворотики и вороночки образовались, меня к выходу вытолкнуло, а я и рад — свет, воздух! — божественное пространство. Но все, кто стремился к цели, просчитались: католикос

прошёл другим путём, где не ждали. Прошёл между могильных плит, таких же, как он, католиков (где-то и ему тут будет плита), — и никого там народу не было. Один я. Прошёл он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я, ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала...

Очнулся я на полянке, рядом — брат друга, порадовались, познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать так просто, так естественно — ешьте, пейте! Здесь такой народ сидел замечательный! Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков: всех угости, а сам своего барана не ешь... Ешь, пей, славь господи! На одной земле сидим, под одним небом, всем делимся, ничего друг у друга не просим! Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди! Вон баранчика, такого трогательного, повели, с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут... А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят... А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила, по-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать, пусть та старушка потом сама себе сготовит... Главное — отдать своё и, что отдашь, того самому не есть... Сажу это я, в одной руке вино, в другой — шашлык, в лаваш завораченный, вокруг меня чужая речь — и хорошо мне вдруг, так по-детски хорошо! Пропало на секунду время, как только, наверно, в молитве да в счастье бывает, когда господь слышит... А уж на эту поляну он непременно бросит взор — это будет для него воскресный отдых.

А нас уже и на свадьбу пригласили, и ещё к одному знакомому брата друга в гости, и ещё к одному знакомому знакомого, и ещё к одному незнакомому. Улыбнулся господь поневоле, уголком рта...

Ну и что же? Что за водоворот времён закружил меня? Церкви тысяча шестьсот лет, но крыше её один год, христианству две тысячи лет, а жертвоприношениям — десять тысяч; сноб вошёл в храм лет десять назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет, газетка под пир подстелена вчерашняя, а небо над нами вечно, католику шестьдесят, а мне тридцать — боже! — а певице — двадцать пять, а кто-то ещё и не родился, и неба ещё не видал!

Из каких разных времён пришли сюда жертвоприношения и снобы, служба и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его! Каша, водоворот, стремнина времён в секунде настоящего времени.

История в своей последовательности трещит по швам. Связывает времена лишь то, что было всегда, что не имеет времени и что есть общее для всех времён. У вечного нет истории. История есть лишь для преходящего. История есть у биологии, но её нет у жизни. Она есть у государства, но её нет у народа. Она есть у религии, но её нет у бога.

Книга

Мой друг — армянин, а я русский. Нам есть о чем поговорить.

— О, — сказал друг, — если ты раз проявил любовь, тебе придётся отвечать за это!

— Как это?

— Тебе придётся её проявить ещё раз.

— А если я разлюбил?

— То ты предал.

— Почему же?

— А зачем же ты любил до этого?

О чём это мы говорим? А говорим мы вот о чём...

— Если я армянин, — говорит он, — то я армянин и никто другой. Есть ли у меня основание любить какую-нибудь нацию так же, как свою? Нету... Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если

ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо.

— Почему это я стал армянофилом?

— А так. Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил, написал только хорошее. Просто так написал. Потом ты напишешь ещё раз, об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь ещё раз хорошо. А потом, в третий раз, ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил.

— М-да, — сказал я, — это мне не нравится.

— И мне это не нравится, — сказал друг, — именно поэтому я дал себе слово: никогда ни о какой другой нации не сказать ничего. Ни дурного, ни хорошего.

Но мне уже поздно следовать этому принципу, мне уже не отказаться от многих слов, чтобы не предать.

И мне придётся сейчас признаться, как я попался, как стал армянофилом. И говорить о том, о чём я сейчас скажу, я не имею права так же, как, начав, не говорить об этом. Это моё заявление станет скоро понятным...

...Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу в любом месте и прочитав из неё любую страницу...

«В некоторых из деревень жители перебиты, а другие — только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство; церкви превращены к мечети.

Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению. Изнасилованы девицы и женщины, и множество семейств обращено силой в магометанство. Церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Сурб-Хача и Камагиеля умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены.

Город Сгерд подвергся избиению; лавки и дома разграб...

...Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры жены друга и ждал друга. Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался: после самолёта у меня всё ещё были заложены уши. Но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон.

Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекрёсток, и по нему, изгибаясь толстой змеей, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома (на родине) я давно отвык от торжественных похорон: тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня незнакомых мне соседей, и я не всегда даже знал, что они умерли, так же как не знал, что они — жили.

Впереди, как бы раздвигая улицу и очищая её от суеты (и улица пустела), с невыносимой плавностью и медленностью плыл некий «кадиллак», в нём стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шёл грузовик: алая, кумачовая платформа, в центре — открытый гроб, а по углам, преклонив колена, — четверо чёрных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев (кажется, с венками в руках), торжественно глядели вперёд, как бы даже не моргая... И далее следовало такое количество «Волг», что я сбился со счёта.

Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности — оно проникало с какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти чёрные раскалённые костюмы, это необъяснимое опустение, эта тяжкая медленность — казалось, мир загустел

* Геноцид армян в Османской империи (Сборник документов и материалов). Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1966.

вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскалённом, но уже остывающем мире тяжело было само движение вереницы машин, созданных для скорости. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как снег.

Подавленный, я вернулся в своё кресло, поднял оставленную корешком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чём была речь...

«IX. Битлисский вилайет. Город Битлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: 1) Хултик, 2) Мучгони, 3) Гелнок, 4) ... 99) Уснус, 100) Харзет, 101) Агцор, 102) ...»

Что же это? Листаю вспять...

«Верховному патриарху нашему Мкртичу,
святейшему католикосу всех армян
Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах и прискорбным сердцем...»

Кто это написал? Листаю, ищу подпись...

«...вот наша судьба и участь; просим, умоляем со слезами, сжальтесь над оставшейся в живых горстью народа, и, если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сожигающий его.
Вартапет Акопян».

Я бросился в конец книги и снова раскрыл в «любом месте»...

«Линия поведения, предписываемая на этот счёт книгой цензуры, опубликованной в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах:

«О зверствах над армянами можно сказать следующее: эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжёлый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность хранить молчание. Позднее, если за граница прямо обвинит Германию в соучастии, придётся обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, всё время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе».

Откуда это? Переворачиваю страницу... «Иозеф Маркварт о плане истребления западных армян». Кто это — Маркварт?

Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные и длинные, как первые, пересекали перекрёсток...

Тут мне изменяет приём, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу... Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю её.

Всё это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что её можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, всё белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.

Я пишу эти строки в Ленинградской Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести — это безусловно последняя глава.

Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу в руках эту книгу. В ней пятьсот страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из неё наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посередине...

«Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Арзрума, — всего 11 человек... Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух».

Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.

Переворачиваю на сто страниц назад.

«Мадам Доти-Вили пишет:

“Турки сразу не убивают мужчин, и пока эти последние плавают в крови, их жёны подвергаются насилию у них же на глазах”... Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. “Мы слышим, — пишет сестра Мария-София, — душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам”.

Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали её; многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам.

Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски и распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает ещё о другого вида поступках:

“Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака”.

Пытки бывают то грубые, то искусно утончённые. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить своё удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.

Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребёнка, которого те недавно несли на руках».

Я раскрывал эту книгу в четырёх местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырёх местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не приём, что это действительно так. В этой книге осталось ещё пятьсот страниц, мною не прочитанных.

У меня кончились чёрные чернила, когда я раскрыл её в четвёртый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасовки, ни символа — это случай, но страницы мои красны.

Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, — то это есть. Если мы только подумаем — то это уже есть.

Всё есть в этом мире, и для всего есть место.

Всё помещается.

Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану её читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привёл сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны... И они уже не казались мне экзотическими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней...

И теперь, постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу

успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:

- «1. Избиение армян при султани Абдул-Гамиде (1876 — 1908).
2. Массовая резня армян младотурками (1909 — 1918)».

Вот и всё оглавление. Как прекрасно прилегал 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго... Двухтомник. Ранние произведения — первый том. Посмертно опубликованные — второй.

А потом и предисловие...

«Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул-Гамида погибло около трёхсот тысяч, в период правления младотурок — полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще, по всей Турецкой империи проживало более трёх миллионов армян, то в 1918 году — всего 200 тысяч».*

А мой друг говорит не «резня», а «рэзня». И я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто «резня» — это так, режут друг друга... а «рэзня» — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту...

Голос крови

Не оттого ли так силен голос крови?

Не та ли, пролитая, откликается?..

Едут старые и малые, миллионеры и по грошу накопившие на путешествие, знаменитые и совершенно безвестные армяне-американцы, армяне-французы, армяне-австралийцы... Звёзды «Метрополитен-опера» и Азнавур, Вильям Сароян и знаменитый польский кинорежиссер, в жилах которого, оказывается, течёт половина армянской крови... Их маршрут Ереван — Москва, а не Москва — Ереван. «В Ереване случаются концерты, которым позавидует Москва!» — трогательное тщеславие ереванцев...

Толпы армян-туристов, зачастую ни разу не видевших родину или видевших в далёком и страшном (геноцид!) детстве, забывших или вовсе никогда не знавших родной язык (даже родившиеся за границей от эмигрантов-родителей, могут быть уже очень немолодые люди!..), — все они едут в Советскую Армению приобщиться к духовным истокам нации, посмотреть, как живёт их родина ныне.

Теперь у них есть эта возможность.

Едут и старики, бежавшие в своё время от геноцида, взглянуть ещё хоть раз — можно и помирать.

А то и возвращаются навсегда, целыми семьями — из Сирии, из Ливана... Их быстро научаешься отличать в уличной толпе: они темней, южнее, почему-то толще, идут, словно дорогу вспоминают...

...Многое может забыть человек, но никогда, оставаясь человеком, не забудет он себя вплоть до родины. И в этом — залог.

В этом же и та последняя помощь полузабытой родины: ты ещё сам не забыт, раз меня помнишь... Ты ещё мой сын. Мать не отступает и от блудного сына, тем более — от изгнанника.

Отношения с родиной такие же, как с мамой: быть может, и слабеет связь с тех пор,

* После геноцида половина армян оказалась в эмиграции. Но армяне не признают слова «эмиграция». Это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое — когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа.

как она уже не кормит тебя... но — до последнего часа! Тут она придёт закрыть тебе глаза. И это уже совсем невозможно вынести, что нё придет.

Смысл того, что родина — мать, в том и заключается, что родина в конечном счёте, в счёте конца, любит своих сыновей сильнее, как и всякая мама.

Мы можем и не подозревать в себе этой любви... Во всяком случае, её не следует выкликать и насильственно вызывать её образ — она никуда не денется, и ты никуда не денешься: как помнишь ты имя матери, и в этом лишь один смысл, что только одна женщина могла родить тебя, так и у земли, где ты родился, где родились твои предки, лишь одно имя, и это не в том смысле, что земля твоя лучше всех, а в том, что такая точка могла быть только одна, обыкновенная, ничем не примечательная точка, как и мать твоя — обыкновенная женщина, одна из тысяч, но одна, но именно эта. И от них произошёл ты, и только так возможно осмыслить свою единственность на земле...

...И стоит посреди ереванской улицы толстый и старый армянин-сириец, растерянный и оглушённый, щурится на родное солнце и всё узнаёт, узнаёт... и словно узнать не может.

История с географией

— А это ты уже, конечно, видел, — сказала учительница истории (сестра жены друга), беря с полки плоскую-плоскую, как лаваш, книгу. — Как не видел?!

Мы садимся на диван, разламываем атлас пополам: одна половина закрывает её колени, а другая — мои. Я не видал таких атласов с тех славных пор, когда, склонив голову набок и высунув язык, раскрашивал красным цветом Киевскую Русь.

Я смотрел на крашенные карты, и на меня повеяло тоской домашних заданий.

Карта — немая для меня, армянские имена на армянском языке. Синее — это море. А Армения — то жёлтая, то зелёная, в зависимости от эпохи. Имена армян-завоевателей и завоевателей Армении обрушиваются на меня — лес веков и имён. И моя собственная история кажется мне редколесьем, потому что там, где у нас древность — XVII век, у них — VII, а где у нас — VII, у них — III до н. э. А III у нас уже нет.

Вот она — зелёная, круглая — простирается на три моря. Вот на два. Вот на одно. А вот — ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, все время оставаясь в общем круглым государством, что, если пролистнуть быстро атлас, это будет уже кинолента, на ней будет заснято падение огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. А если так же пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде всё шире, шире исторические круги.

Вошёл мой друг, увидел.

— А, — сказал он, — атлас...

Сел на диван, положил на колени, раскрыл... И пропал. Буквально — углубился. Он уходил в свою историю по колени, по пояс, по грудь с каждым поворотом — ударом страницы. Он скрылся с головой. И вдруг вынырнул, поднял на меня далёкие свои, из глубины, глаза, словно голову высоко вверх задрал, и крикнул, а голос уже еле дошел до меня:

— Что мне не нравится иногда в армянах, так это их воинственность.

— Что, что? — крикнул я в глубину его колодца, голос мой падал, падал вниз, но, кажется, так и не достиг дна.

Мой друг снова склонился и что-то искал на дне. Видно, колечко обронил...

Наконец он вылез на поверхность современности, перед ним была последняя карта сегодняшней Армении.

— Вот так хорошо. Такая круглая-круглая республика...

Я не знал уже, кричать ли мне ему глубоко вниз или высоко вверх, и глупо улыбнулся.

Армяне — воинственный народ. Несколько тысяч лет они завоёвывали, и несколько

тысяч лет — их завоёвывали. Война за собственную историю — их последняя война. И об этом атласе, и тем более о сборнике материалов о геноциде, и о поражении Климова они говорят с гордостью и болью, как о победе.

...Вошёл брат друга. Его молчаливый младший брат. Мы его ждали с новостями: он отвозил жену в роддом. Молча прошёл он к дивану, поднял атлас, как тяжесть, и молча утонул в нём.

Он смотрел в трубу своей истории. Он наводил на свою страну опрокинутый бинокль, и там, в невероятной глубине, на дне, светилось колечко Севана, а может, его будущий сын.

УРОК ГЕОГРАФИИ

Макет

И я следую образу, как методу. Невооружённым глазом я ничего не вижу — надо тут родиться и жить, чтобы видеть. В бинокль я вижу большие вещи, например арбуз — и ничего, кроме арбуза. Арбуз заслоняет мир. Или вижу друга — и ничего, кроме друга. Или... «Армянский ишак, армянский очень толстый женщина и обыкновенный армянский милиционер...» Каждый раз что-то заслоняет мир. Я переворачиваю бинокль — от меня улетаёт арбуз, как ядро, и исчезает за горизонтом. И вижу я в невообразимой глубине и дымке маленькую круглую страну с одним круглым городом, с одним круглым озером и одной круглой горой, страну, которую населяет один мой друг.*

Город

С него началась для меня Армения. В былые времена это было, по-видимому, невозможно. Раньше в незнакомую страну въезжали, теперь влетают. Я летел, подо мной была подстелена вата, я ничего не видел внизу, и то, что я прилетел-таки куда надо, можно объяснить разве что моей доверчивостью, и, если бы у Аэрофлота вдруг объявились бы дурные намерения, я мог бы очутиться где угодно... Какого-либо количества дорожных впечатлений, кроме стюардессы, на этот раз даже некрасивой, я не имел. Страна для меня по произволу Аэрофлота началась не с границы, а с середины.

Это очень существенно, думаю я, пересекать границу и ощутить перемену качества, хотя бы и тобой привнесённую. Надо было ехать поездом. Очень существенно, думаю я, всегда и во всём иметь начало и тогда уже идти до конца. Книги надо читать с первой страницы или вообще не читать... Где-то в разболтанной моей крови до сих пор откликается педантичность двух немецких бабушек. Во всяком случае, ни одной книжки, которую нельзя было бы читать с самого начала, я не прочёл.

Эту книгу мне раскрыли посредине, и я ничего не понимал.

И как книга, о которой уже слишком много и давно все говорят, а ты ещё её не читал, постепенно вызывает в тебе глухое сомнение, — уж больно все и уж больно много о ней говорят! — а потом и возмущение: говорят и говорят, а ты так и не прочёл, — так и город этот... «Да не хочу я её читать!» — восклицаешь ты в конце концов. Не хочу я в Париж, не очень-то и хотелось.

* Этот макет справедлив ещё и потому, что соответствует наиболее расхожим представлениям о стране. Город? Ереван. Озеро? Севан. Гора? Арарат. Это мы знаем назубок, остальное, выражаясь языком школы, знаем «нетвёрдо». Меня, например, поразили следующие «географические открытия»:

- а) Армения граничит с Грузией и Турцией;
- б) более 90 процентов населения республики — армяне. Это самая «национальная» из республик;
- в) на территории республики живёт менее половины всех армян: почти две трети раскиданы по всем странам мира;
- г) Арарат, изображённый в гербе республики, находится в Турции.

Отняли от меня и книгу и Париж. Отняли от меня время их открытия. Я ещё, быть может, любви не знаю, а мне говорят: люби! Не хочу! Хочу ещё раз собрать подъёмный кран из детского «Конструктора». Это я знаю, понимаю и умею.

Можно это объяснять и так, что человеку хочется быть самому и вовсе не хочется подчиняться большинству. Мол, такова природа протеста. Не хочу я читать эту замусоленную книгу, восхищаться этой выпотрошенной красотой и любить общую красавицу. Для меня, мол, это всё общепитовские холодные макароны. Но я не хочу объяснять это так.

Слишком много во мне было заготовлено предварительного восторга, чтобы город так вдруг мог мне понравиться. Мой восторг не имел адреса и был неточен. Я не забрёл в этот город по пустым дорогам, запылённый и осунувшийся, а влетел в него, гладкий и сытый, из Москвы.

Я въезжал в город по проспекту Ленина... Вот, слева, видите? Это трест «Арарат» — армянский коньяк, знаете? А впереди тумба, видите? Постамент, то есть бывший постамент, то есть...

Ну, как тут, что увидишь?

Ну, розовый Ереван, розовый. Из туфа. Да, красивее строят, искуснее. Но почему это именно Армения, я ещё не понимал.

Ну, о том, что Ереван мой букварь, я уже говорил. Язык — тут уже ничего не скажешь, — другой здесь язык, армянский... А что букварь, так это только сказано красиво.

Этого города я не чувствую, в этом городе я не властен, меня всё время ведут куда-то бесчувственного.

— Ну что, пойдём? — говорит друг.

— А куда?

— Пойдём, увидишь.

Мы идём, и я не вижу.

— Сюда зайдём, — говорит друг.

Заходим в учреждение. Мой друг отлучается навсегда. Запоминаю несколько ереванских стенных газет. Возвращается наконец, не один. Знакомит. Выходим втроём.

— Сейчас мы зайдём ещё в одно место... — И не то это просьба, не то приказ.

Очень занятые мы люди, очень деловые. Нам всё время надо идти куда-то, зачем-то, зачем — не знаю, но верю другу: надо.

Так нас становится — четыре, пять, шесть...

— Ну, — сказал друг, — мальчики в сборе... Пошли. И очень деловито мы пошли, шестеро мужиков.

Ещё одно учреждение. Почти такое же, как предыдущее. На юге они всегда кажутся такими случайными и пустыми! Коридор, потом ещё коридор, внезапные три ступеньки вниз, занавесочка, её мы отдергиваем...

И вдруг мы в пивном зале.

— Так мы и знали, что ты тут сидишь! — восклицают мои друзья, и нас становится семеро.

Так вот чем мы были так заняты! В мужском обществе проводим день. Разговор потихоньку тянется, застревая, — пива много.

Я никак не могу поверить, что ничего не вижу, мне стыдно в этом признаться. Восприятие моё натужно, я во всём хочу увидеть Армению — и не вижу.

— Ну, как тебе нравится в Армении? — и на меня смотрят мягко и требовательно.

— Очень нравится, — конечно, говорю я. И на меня смотрят, как на конченого человека.

Я наливаю тогда пива, а когда ставлю бутылку на стол, в ней лопаются

необыкновенное количество чуть выпуклых плоскостей, неявных, кругловатых многогранников, и это красиво за зелёным стеклом. Мне там вдруг померещилась армянская церковь, и меня озарило.

— Смотрите, — сказал я, — видите! Вот так же удивительны все плоскости в Армении. словно бы выпуклые... Круглые многогранники... — Точность моего наблюдения должна была бы снять всякие сомнения в искренности моего восхищения.

На меня посмотрели не понимая. Взглянули на моего друга, как на переводчика. Он заговорил по-армянски, поначалу словно объясняя сложность моего образа, но потом мне показалось, что он просто объясняет своим друзьям, что я хороший всё-таки парень и не надо обращать на меня внимания. Но потом вдруг я догадываюсь, что нельзя так долго говорить обо мне — не о чем. И тогда я наконец понимаю, что они уже давно говорят о своём и это не имеет ко мне никакого отношения.

Я оказался в одиночке, как в бутылке. Стенки у неё были прозрачные, зеленоватые. Такие странные стенки, немного выпуклые, немного угловатые, немного круглые.

Они ломаются, сливаясь. Гранёные пузыри...

Друзья спохватываются.

— Ну, как вам нравится?.. — спрашивают ласково.

— Очень нравится...

Что я могу ещё сказать?

— Неплохой денёк, а? — сказал друг, обошедшийся сегодня без поездки на Севан и явно этим довольный.

— Зам-мечательный...

А что я могу ещё сказать?

По обстоятельствам чисто внутренним я чувствовал себя запертым в родном городе и удрал из него... Удрал же, опять оказался в клетке, причём чужой. И своя была всё-таки лучше.

Мне следовало обрести простор, чтобы ощутить логику построения дома в этом просторе.

Я обрёл простор, вырвавшись из города. Я захлопнул книгу, раскрытую не на той странице, и открыл её на первой.

Оставалась надежда, что если книга действительно прекрасна, то она сломит моё предубеждение и сама заставит любить себя. Насильно мил не будешь, но насильно ничто и не станет милым. Я никогда не смогу заставить себя любить что-либо. Это мне неподвластно. Я не свят. Но если вдруг: «Боже! — восклицаешь ты. — Так всё понятно. Вот, оказывается, почему я не доверял тебе. Это я не тебе не доверял, а тем, кто рассказывал мне о своей любви к тебе, я не доверял. Да не так, не так любили, как следовало любить! Вот в чём дело, — осеняет тебя, и ты меняешь адрес возмущения. — Вот как надо всё это любить!» Так надеялся я вернуться в этот город, покидая его.

Нам неважно прошлое любимой, если мы действительно любим (именно потому, что все прошлые, любили не так — и их любили не так? — их и не существует для тебя). Может, потом, когда любовь начнёт уходить из тебя — земля из-под ног, как неверная точка опоры, и понадобится тебе знание прошлого и ревность к нему. А если это тебе неважно, ты любишь.

Так хотелось бы.

Любовь к городу могла возникнуть лишь после любви к простору, в котором он заключён. Поэтому о городе потом, благо у меня будет к тому повод. Сначала о просторе.

Простор

Простор — категория национальная. Необходимое условие осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алую простыню, я ощущаю пространство, огромное, но ещё не ощущаю простора. И если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем — Эстония, корытцем — Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутанись на пятке и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке? Пожмёшь плечами, имея столь немыслимые заплечные пространства.

И какое же удивление овладевает тобой, когда едешь по крошечной, с нашей точки зрения, стране и час и другой, а ей всё конца и краю нет.

Оказывается, есть горизонт, кругозор, и он ставит всему предел. Он и есть мир бесконечный. Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вздохнуть глубоко, — это простор и родина. А то, что за его пределами, — не очень-то и существует.

Два полярных впечатления владеют мной.

В России что-нибудь да заслонит взор. Ёлка, забор, столб — во что-нибудь да упрётся взгляд. Даже в какой-то мере справедливым или защитным кажется: тяжело сознавать такое немыслимое пространство, если иметь к тому же бескрайние просторы.

Я ехал однажды по Западно-Сибирской низменности. Проснулся, взглянул в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жуёт, плоско двигая челюстью. Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жуёт по колено. Проснулся на вторые сутки — болото, корова. И это был уже не простор — кошмар.

И другое — арка Чаренца в Армении.

Отрог подступил к дороге, подвинул её плечом вправо, дорога подалась в сторону, легко уступая, но тут и справа появилось кряжистое плечо и подтолкнуло дорогу влево, дорога стиснулась, сжалась, застряла, увязла в отрогах — горизонт исчез. И вдруг вырвалась, вздохнула — справа раздался внезапный свет, будто провалилась гора, на миг что-то проголубело, просквозило вдаль, и маленькая горка досадно снова всё заслонила. Впрочем, она бы ещё не всё заслонила, что-то ещё могло синеть за ней краешком, если бы не странное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно выглядело довольно неуклюже и неуместно. «Сейчас мы это проскочим», — успел подумать я, почему-то рассердившись на это препятствие взгляду. Но мы круто свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку. Арка на вершине приближалась и наконец заслонила собой всё. Мы вышли.

Я недоумённо взглянул на друзей: зачем стали? Чем замечательно это слоноватое строение?

— Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперёд.

Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счётом ничего замечательного при всём желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину, даже как-то жёстко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошёл под арку и охнул.

Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось.

Это был первый чертёж творения. Линий было немного — линия, линия, ещё линия. Штрихов уже не было. Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена. Всё остальное, кажется мне, бог творил то ли усталой, то ли изощрённой, то ли пресыщенной рукой. Кудрявая природа России — господне барокко.

«Это — мир», — мог бы сказать я, если бы мог.

Пыльно-зелёные волны тверди уходили вниз из-под ног моих и вызывали головокружение. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было

головокружение полёта. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдали, таяли в дымке простора, и там, далеко, уже синие, так же совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба. Какое-то тёмное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева, и я вдруг почувствовал, что стою с приподнятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, одна чаша которых была подо мною. «Это музыка сфер», — мог бы вспомнить я, если бы мог. Передо мной был неведомый эффект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости — и бесконечности. И моего собственного размера не существовало. Я мог, казалось, трогать рукой и гладить эти близкие маленькие холмы и мог стоять и поворачивать эту чашу в своих руках и чувствовать, как естественно и возможно вылепить этот мир в один день на гончарном круге. («Что такое мастер? — сказал мне однажды друг. — Творение должно быть выше его рук. Он возьмёт в руки глину — и она выпорхнет из рук его...»)

...И вдруг эта близость пропадала и мир подо мной становился столь бесконечен, глубокий и необъятен, что я исчезал над ним и во мне рождалось ощущение полёта, парения над его бескрайними просторами. «Горний ангелов полёт...»

— Видишь Масис! Масис видишь? — Я вздрогнул. Что тут можно было увидеть ещё? Друг протягивал руку к краю земли. — Вон, видишь? Чуть темнеет? Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна... А справа уже большая. — Друзья наперебой чертили в воздухе контур. — Видишь? Он то пропадает, то опять виден.

Я напрягался и то ли видел, то ли не видел. Я ведь не знал, что именно мне надо увидеть.

— Вижу, вижу! — восторженно подтверждал я, тоже обводя рукой нечто невидимое. (Достаточно ли восторга на моём скифском лице?) И действительно, вдруг показалось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. — Большую вижу! — (Или от напряжения потемнело в глазах?)

— Правда, видишь?

Я всё ещё не видел Арарата.

— Ну, пора, — сказали мне.

Смущаясь, прошёл я назад под арку. Мои друзья шли легко.

— Ах, если бы мы захватили с собой вино!

— То что же?

— То мы бы выпили тут, господи!

Я оглянулся в последний раз: «Вот тот мир, где жили мы с тобою...»

Как естественно, что Ной приплыл именно сюда! Нет, он не сел на скалу Арарата, он причалил. Он не знал другой земли и приплыл на ту же землю. Другие пейзажи просто исчезали за кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец, ставит новый сруб в том месте, в котором способен узнать родину.

Страна не мала для человека, если он хоть раз почувствует её простор. «Здесь я увидел мир», — говорят о родине.

Озеро

Из центра Еревана, где все строения, кажется, поставлены уже навсегда, всё притёрто и прижито, ладно, прочно и окончательно, мы попадаем в розовое одинаковое младенчество новых районов, оттуда в пропылённый индустриальный пригород, а дальше у дороги вырастают крылья. Слева от дороги — левое крыло, справа — правое. В пейзаже Армении царствует линия, горизонт её крылат. Приподымет левое крыло — опустится правое. Левое золотится на солнце, правое синее в тени. Цвет меняется сразу, часто и бесконечен в оттенках, но пестроты никакой нет — в каждом своём существовании, он целен, всеобщ.

Исчезнут последние строения, появятся виноградники, прикованные к бетонным столбам (до чего же мало дерева в Армении!), а потом и виноградники вдруг пропадут. Только крылья дороги, только линия и цвет, только всплывают чёрные лужицы жары на взгорбах дороги. И такая подлинность и единственность этой страны снова и снова является тебе, что подлинность эта кажется уже чрезмерной. А когда чувство рождается в человеке, то оно рождается одинаково и в другом, как рождалось всегда. То же чувствует шофёр, что чувствую я и что чувствует мой друг. И так же выразить это нечем. И поскольку выразить нечем, чувство прибегает к цитированию.

— Всё-таки как это хорошо почувствовал Сарьян... — говорит мой друг... — Никто по-новому не может. Все — как он.

И я думаю вдруг, что никакой трансформации художнического видения не потерпит эта натура — так она точна. Быть в плену у этой абсолютной точности линий и цвета, должно быть, не под силу художнику, а копия — невозможна. Что ж, земля эта была уже создана один раз, и второго творца быть не может.

Мы поднимаемся в горы, они вырастают на горизонте, невысокие и плавные; эти женственные линии сводят с ума. Никогда бы не подумал, горожанин, что влечение к земле так похоже на желание. Без преувеличения, я страстно хочу слиться с нею, даже взять её силой. Захватчик дремуч, неосознан, но зерно его здесь. И если во мне живёт захватчик, то вот он...

Напряжение горной дороги вдруг ослабло, теснота распалась, горы отступили, мы въехали в долину, и на горизонте впервые обозначилась прямая линия.

Такая дорога могла привести меня в Апаран, Бюракан, Гехард. Такое чувство могло привести меня только на Севан.

О эти знаменитые места! Я их опасуюсь. Как бы скептически ни настраивал я себя, в дороге непременно нарастёт ожидание некоего восторга, откровения и счастья, потом всё не совпадёт, разочарует и распадётся. Разве в воспоминаниях снова оживёт и раскрасится... Сколько видел я разных маленьких Мекк, пустых, выпотрошенных, рассмотренных, как расстрелянных! Слава убийственна не только для людей.

Севан приблизился ко мне, и я не испытывал ни потрясения, ни восторга. Озеро. Красивое озеро. Даже очень красивое. Но я больше слушал какую-то тоску и тревогу — невнятная и опасная возня поднималась во мне.

Свет... Слишком много света.

Сейчас я ловлю себя на том, что, когда говорил «линия и цвет», я не был точен. Я скорее следовал традиции, нежели собственному ощущению. Я скорее отдавал дань Сарьяну, чем натуре. Может быть, моя привычка и склонность к северным гаммам не давала мне возможности оценить резкую подлинность красок юга. Во всяком случае, ничего своего в ощущении цвета в Армении у меня не было. Хотя, конечно, я легко отдаю должное их подлинности по сравнению, например, с красками наших поддельных черноморских субтропиков...

Должен же я был сказать: линия и свет.

Свет в Армении, быть может, основное моё зрительное впечатление, главное физическое переживание. Сказать, что он слишком яркий и его слишком много, — ничего не сказать. Это свет особого качества, которого я нигде ранее не встречал. Я вспоминал свет в Крыму, Средней Азии, снежных горах — вот там было много света, яркий свет, ослепительный, даже громкий свет, — но никогда я его не переживал так, как в Армении. Впервые он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, ветер и трава. От него было не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я словно и не хотел прятаться от него, хотя он доставлял мне истинные мучения: уже через два часа после сна глаза болели, слипались и слепли и какая-то особая усталость передавалась именно через

глаза всему телу. Даже тёмные очки я спрятал в первый же день на дно чемодана, и не только потому, что не хотел выделяться среди моих друзей, которые их не носили: мне хотелось испытывать эту непонятно сладкую муку, хотелось, чтобы весь свет, до единого луча, прошёл сквозь меня за эти две недели, до последнего дня и часа.

И если Армения — самое светлое место в моей жизни, то Севан — самое светлое в Армении.

Что-то противоестественное было в том, что я стоял на берегу Севана.^{*} Что-то опасное было в самом Севане, его воде, воздухе и свете. Опасное именно для меня. Я это сразу почувствовал, хотя и не сразу осознал словами.

Ничего очевидно грозного в нём не было. Была прекрасная погода. Солнце и синь небес. Волна — небольшая, вполне уютная. Кругом расположились топчаны, грибы, кабинки, тенты — пляжная цивилизация. У пирса стояли белоснежные катера-такси. Рядом был ресторан с открытой террасой и немногими словно для создания настроения посаженными туда людьми. На грифельной метеодоске было написано: «Температура воздуха 19, температура воды 17».

И всё-таки не надо мне было лезть в эту тёплую воду. Именно неосознанное чувство опасности, моей тут ненужности и напрасности толкало меня в воду. А что же? Для чего же здесь тенты и топчаны? Вон и люди купаются. Такие же пляжные, как всюду. В том-то и дело, что тенты и топчаны — ни к чему.

Вода обожгла по каким-то своим свойствам, не зависящим от температуры. Но ощущение было таким же болезненно-приятным, как и мучение светом. Очень похожи были эти два ощущения. Это была уже не вода, а некое второе состояние неба.

Вылезал же я из воды человеком новым. Не обновившимся, не освежившимся — новым, другим. То ли одно дело смотреть с берега на воду, а другое — из воды на берег... Озноб усилился (тут я понял, что он был и сначала). Мой друг смотрел на меня мягко-посторонним взглядом покупавшегося человека. Круто вверх уходил склон, венчался монастырём, и синее небо как раз там начинало свой купол, опрокинутый над Севаном. А то чувство, что так неопределённо мелькало во мне — неуютство, ненужность, опасность, — оказалось стыдом. Я не совершил ничего святотатственного. Мой друг завидовал мне, что я искупался, а он нет: не знаю уж, что ему помешало... Я же одевался как-то смущённо и поспешно неловко прыгал, путаясь в брюках и теряя равновесие.

Анализу это не поддавалось, стыдно было не перед кем и не за что, но стыд был стыдом.

Уже защитно-равнодушный, стоял я несколько в стороне, пока вся компания оживлённо спорила, выбирая катер; тут был тот же счастливо-базарный ритуал, который много раз на моих глазах предшествовал любому, даже самому простому, мероприятию: ехать на такси или в автобусе, идти в ресторан или домой, купить слив или арбуз и т. д. Мы сели в один катер, потом вылезали и снова спорили. Жар и холод непонятно соединялись в севанском воздухе, и эта чересполосица озноба была как прикосновение любимых рук — я стоял, отдаваясь этой опасной ласке, и уже как-то издали доносился до меня спор, как потрескивание огня в печи, и люди, рядом стоящие, вдруг словно уносились в далёкую перспективу.

И вот я трогаю своей посторонней пяткой постороннее нетвёрдое тело катера, и то небольшое смущённое презрение к нему, которое я испытываю и показываю,

^{*} Противоестественно хотя бы это выражение «стоял на берегу». Не на берегу, а на дне Севана я стоял! Об этом нельзя писать вскользь. Но тогда мне пришлось бы писать только об этом... Вся та суша, по которой я гулял, на которой проложены дороги и построены санатории, которая уже производит впечатление, что она была всегда, вся эта суша — дно Севана. И полуостров, на котором мы находились, на самом деле был островом. Ещё недавно.

по-видимому, должно означать мою непричастность к его искусственности, к тархтению мотора и радужным нефтяным пятнам на воде. Мы одинаково чужие этому свету, воздуху и воде, и вот эту-то одинаковость мне и не хочется признавать.

Великолепный водитель? шофёр? капитан? лениво и чересчур пластично поднимается с нагретых досок, натягивает тугой свитер на свои бронзовые чудеса и, как бы не глядя на дам, проходит сквозь нас и занимает своё место у руля? штурвала? баранки? Он становится своими скульптурными босыми ступнями на специальную подушечку и, нажав какую-то слишком простую кнопочку, которая разрушила бы представление о сложности его дела, если бы он не был так величествен, выстреливает всеми нами в легкомысленной капсуле катера на середину озера.

Тут мы как бы останавливаемся и как бы не сами несёмся, а озеро начинает стремительно поворачиваться вокруг нас.

Отлетает за спину пляж с его маленьким фанерным торжеством, мы стираем его с лица, как осеннюю паутину, и, когда отнимаем руки...

Ветер с брызгами ударил нам в лицо, сапфировые непрозрачные волны трепали наше беленькое легкомыслие, как гусиное перо, а стая улетела... Улетела она за те зелёные, жёлтые горы, что дугой поворачивались вокруг нас. Мы обогнули мыс, и он, совпав с линией берега, замкнул залив в кольцо. Мы очутились в синей тарелке с белым, как выжженная кость, ободком — границей воды и суши. Невысокие толстые горы на солнце выглядели уютно и надёжно, а в тени противоположного берега супились и морщились.

Человека тут уже быть не могло и не было. Любоваться Севаном невозможно. Можно только подглядеть. И восторг был сродни резкому колющему холоду брызг. Вода выталкивала нас, как мусор.

Я оглянулся на спутников — и понял, что у меня такое же лицо. В эти лица, расстёгнутые и зелёные от счастья, голые, как граница между загорелой и никогда не загоравшей кожей, смотреть было тоже нельзя — и вообще пора было поворачивать назад. Подглядели, и хватит.

И когда я ступил на твёрдую землю, ощущение чужестранца, пришельца, незваного гостя, позорной праздности уже вполне сформулировалось во мне.

Опустевший пляж, всегда-то смотрящийся достаточно странно, в окружении выжженной травы, синей воды и неба, безлюдья и такого молчащего монастыря над ним смотрелся неправдоподобно и страшно, как на сюрреалистической картине.

И этот немыслимый свет, вспыхнувший на белой прибрежной полосе!.. И как же я понял того абстрактного русского мужика, заброшенного сюда роковой рукой профсоюза (где-то поблизости, немыслимый, такой же сюрреалистический, исторгнутый всей природой, находился дом отдыха), — мужик отделился в этот момент от столика, чёрный, как муха, до боли родной, и, шатаясь по этой костяной полосе, на этом светлом, светлом, светлом свете, запел настойчиво и истошно, стараясь перекрыть этот свет: «А но-о-о-о-о-о-очка тёмная была!..» И пока мы закусывали, почему-то хотелось отвернуться от Севана и успокоить свой взор на таком понятном ларьке...

Ничего, ничего не хотелось больше видеть! Высокий звон натягивался и рвался в ушах, горячий холод гулял по спине, и в носу стрекотал кузнечик. И где-то во лбу тикало. И, уже направляясь к машине, стараясь не оглянуться на Севан, мы вдруг с тоскою и обречённостью свернули вправо и полезли вверх, к самому высокому и непосильному мгновению.

И там, наверху, всё исчезло. Провалилось время. Скрылся перешеек — и полуостров стал островом. Ларьки и тенты сверху были, как тот же мусор, выкинутый на берег, — работа моря. Монастырь стоял уже вторую тысячу лет, как стоял он тут всегда. Жёлтая, довольно высокая трава навсегда обозначила ветер, который дул тут вторую тысячу лет,

который дул тут всегда.

Побледневшее и будто опустевшее к вечеру небо легко помещало в себе и ветер, и остров, и Севан под собою. Севан же темнел, пока светлело небо, и был там внизу, как натянутая для просушки шкура, а белые лепестки высохшей кожи выворачивались трубочкой по краям.

Это было такое дикое, опасное, напряжённое, натянутое как струна, звенящее место на земле, подставленное свету, как ветру, и ветру, как свету, место, которое могло бы ещё принять паломника, чтобы обдуть с него пыль дорог, но праздного пришельца сдувало с него, как пыль, и оставалось таким же невиданным, таким же непосещённым, как тысячу лет назад, как всегда. Ослепительное, как зубная боль. Место для родины... Ни для чего больше оно не подходило. Закладывает уши, слезятся глаза.

«Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре», так же было холодно и сине, так же полегла жёлтая трава и в ту ночь, когда трижды отрёкся Пётр, прежде чем пропел петух, и когда чеховский студент подошёл к тому костру на огороде...

Но никогда не висел амбарный замок на дверях монастыря; не был похоронен под обелиском со звёздочкой меж двух старинных могил с кудрявыми крестами капитан Севанского пароходства; не становился монастырский остров полуостровом; не пролегало по перешейку шоссе до самого берега этого острова (теперь — до подножия горы, где дом отдыха); не стояла голубая комсомолка с веслом; не утекал Севан, как песок в песочных часах, обозначая узкое, как шейка тех же часов, наше время, оставляя мёртвую костяную полосу между собой и горами...

Так светло бывает только при зубной боли.

Закладывает уши, слезятся глаза.

«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...»

Великая поэзия всегда конкретна. А образов никаких нет.

Гора

Я должен был, как мне объяснили в Москве бывалые люди, увидеть Арарат прямо на аэродроме. Просто первое, что я должен был увидеть.

Но его там не было.

И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не видел.

Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и сгущалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, — море.

Мне полагалось видеть его из окна своего пристанища в ереванских Черёмушках — дом стоял над городом, и ничего не заслоняло взор. Из окна должен был быть отличный вид на Арарат, но его не было.

Мне полагалось видеть его с кругозора арки Чаренца, и я то ли видел, то ли так и не видел его.

И так до последнего дня.

Я улетал первым рейсом и поднялся с рассветом.

И тогда я увидел его.

И большую вершину, и маленькую.

Это оказалось очень неожиданно. Он не был так уж органичен для того места, где так внезапно вырос на прощание. Он казался пришельцем.

Он оказался не таким лучезарным, как на этикетках или фресках московского ресторана «Арарат».

...Довольно мрачная, насупленная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора — именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана.

И потом — гора смотрела. Я на неё, она на меня, и я чувствовал себя неловко.

Это, наверно, случайное, однократное моё впечатление, но мне было непонятно, как она сюда попала.

Словно горе этой пришлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу.*

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Тезис

Я задаю себе вопрос: откуда берутся идеалы?

Воспитание? Среда? Семья, школа, коллектив, общество? Безусловно — но тут-то и обнаруживается, что это не всё. Не всё объясняет. Кое-что остается неясным. Но как саднит, как болит, как терзает это кое-что!

Страсть. Ревность. Любовь. Вот уж когда мы не принимаем жизнь такой, как она есть; вот уж когда у нас недостаёт ума примерить трезвый опыт; вот когда страдание возникнет ниоткуда, нипочему, а объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам нашего тела... Где же мы видели эту идеальную любовь? Когда узнали?..

Искусство? Книги? Да, конечно, оттуда к нам подвигается идеал, который мы ищем потом в своей жизни и не находим. Тут, мысленно, начинаю я перелистывать книги юности и вдруг, нынешним-то, протрезвевшим и охладевшим, взором обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то как раз о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал, как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезвевшими в своё время людьми, как я — в своё. Это юность моя читала в них то, что хотела, что было записано в ней самой...

Можно расти сиротой, семья, среда могут оказаться трагически не подходящими идеальному развитию детства и юности, и однако именно в этом случае вполне возможно зарождение мечты о счастье и идеалов прекрасного, ничем не подтверждённых в раннем и нежном опыте. Что же, идеалы эти возникают из одной лишь полярности, для равновесия, по законам диалектики?

Со школьной скамьи мы знаем, что уродливая среда и общество с редким постоянством рождали светлых людей, которые, исчислив неким, опущенным в учебнике, способом свои идеалы, с непонятной наивностью и упорством не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли, чтобы светить людям, которым это было не нужно, которые щурились, раздражались и самыми примитивными способами сводили просветителя на нет.

Тут тоже, на мой взгляд, всё не вяжется одно с другим.

Как возникает идеал, если он в тебе не воспитан и если опыт жизни тоже не может привести нас к его лицезрению? Идеалы ведь не существуют в жизни. Потому они и идеалы.

Может, они врождённые? И тогда воспитание, среда, жизнь и опыт — лишь благоприятные или неблагоприятные условия для их выявления?

Природа идеала исключительно неясна материалисту...

Так постепенно я понимал, что материализации идеала быть не может. Это даже слишком просто. Потому что всё, что может материализоваться, уже не идеал. В материальном мире идеал не существует.

Торжествуют же идеи — не идеалы.

Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со

* Такое же чувство неожиданности вызывает, как правило, армянский храм. Он одинок и внезапен, как Арарат, ничего подобного которому нет в поле зрения. Храм почти так же не подсказан. И если говорить о «невписанности» армянских храмов в ландшафт, то она, как и Арарат, имеет вулканическую природу.

мною, — ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать? Если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как свою, в чём же дело? С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь, чтобы постоянно твердить — не то, не так! — и обличать самого себя перед самим собой — никто же не видит! — так безумно?

Приходится признать существование в нас, и нигде больше, идеального мира, населённого идеальным человеком, мира, доставшегося нам с рождения (потому что родиться физически мы могли где угодно) и лишь с разной степенью полноты и силы выявившегося в каждом из нас, чтобы нам было с чем сличать и сравнивать свою жизнь, и мучиться, и страдать несопадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое — быть человеком? Что такое — болит совесть, мучает стыд, гложет тоска?

Откуда?

И где взял я, как родился во мне образ некой горней страны, страны реальных идеалов? Между тем страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; просто страна, где всё было тем, что оно есть: камень — камнем, дерево — деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком. Где труд был трудом и отдых — отдыхом, голод — голодом и жажда — жаждой, мужчина — мужчиной и женщина — женщиной. Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть, где бы всем понятиям вернулся их исконный смысл... Страна была рядом, и только меня в ней не было... При каких обстоятельствах покинул я эту страну? Как давно это случилось? Не помню. Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался и смотрел не в окно, а на часы — утро, вечер ли? — я завтракал без аппетита, потому что, чтобы жить, надо есть. А может, жить, чтобы есть? Я выходил на улицу — путник вышел из пункта А в пункт Б: надо же куда-нибудь идти и что-нибудь делать! Вечером я брал человека за руку — я? брал? человека? за руку? — я смотрел ему в глаза... Господи! Кто это? Кого я беру за руку?

Мне пора было вернуться.

...Страна с одним городом, озером и горою, населённая моим другом! Я глотал пересохшие в горле слова и не мог описать тебя. Камень был камнем, свет — светом... Я нашёл слово «подлинный» и остановился на этом. Я беседовал с мужчиной, который был женщиной, и беседовал, как мужчина. Мы ели с ним еду, которая была едой, и пили вино, которое было вином. Тогда, в благодарности и всё ещё в суете, мне непременно, необходимо было нашарить слово, чтобы накинуть, надеть, натянуть его на свою радость, я сказал: «Вот страна понятий...»

И не есть ли мой судорожный поиск непременно одного слова, определения по отношению к этой стране и к этой радости косвенное доказательство того, что так оно и есть, что существует такое слово для этой страны, раз уж его так не хватает моей суете?

Богатство

Это была небольшая чёрная слива; вернее, тёмно-синяя, чернильного цвета слива; небольшая она была не потому, что недозрелая и мелкая, а потому, что принадлежала к такому достаточно широко распространённому и известному сорту небольших по размеру слив, несколько более удлинённых, чем крупные сливы, с островатыми концами, несколько менее сочных, даже суховатых, и более сладких.

Это был один из крупнейших крытых ереванских рынков, архитектуру которого, как и многое в ереванском современном градостроительстве, следует признать передовой и удачной. Особенно рынок нравился мне внутри, где казался очень органичным, а назначение и решение предельно соответствовали друг другу, сливались. После уличного света и жары — прохладная и какая-то очень светлая тень, и чистота, и своеобразная тишина. И нет той кипящей и резкой жизни открытого южного базара с его солнцем, гомоном, толкотнёй и осами.

Какие петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе! Если птичий базар был назван так в сравнении с человеческим, то прежде всего не по многочисленности того и другого, а по тому ни с чем другим, как друг с другом, не сравнимому звуку слитых голосов, слитых в таком абсолютном беспорядке, что уже образующих гармонию. И если птичье собрание было не с чем сравнить, как с базаром, то базар мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием. Тысячи голосов, не различимых и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, там сливались, отражались и медленно падали вниз, и этот обращённый шум был так нежен, что не сразу достигал моего сознания, как шум моря и шум далёкого птичьего базара (шум открытого базара близок: будто ты ступил на берег, непрошенный гость, и вспугнул тысячи пернатых хозяев сразу). И высокий свод, поддерживаемый изящными и лёгкими стрельчатыми арками, и рассеянный, непонятно откуда идущий свет, и этот мягкий нежный гул невольно наводили на мысль о храме.

Эта небольшая слива лежала на вершине аккуратно сложенной пирамиды из точно таких же слив. Пожилая женщина опрятного и достойного вида построила эту пирамиду и теперь стояла величественно и скромно. Рядом, лишняя, топталась её некрасивая дочь с каким-то скучным трепетом на лице. Ещё рядом находилась суетная торговка травой, но тут уже проходила явная граница между сливами и травой.

Покупателей не было.

Достойная женщина в этот момент как раз быстро поймала скатившуюся было сливу и плавным, не лишённым величия движением поместила нашу героиню на самый верх, после чего несколько безотчётным и очень бережным движением придержала всю эту конструкцию сбоку и отпустила — пирамида застыла не дыша, подчинённая чудесным законам трения...

Мы шли с другом по рынку, и изобилие юга в который раз поражало моё северное сердце. Чудо существования фрукта вызывало лёгкое головокружение. По-своему фрукты были заметнее в крытом рынке, чем на базаре. Отсутствие солнечного света, прежде всего подавляющего на базаре, словно возвращало фруктам их собственный свет (именно свет, а не цвет). Казалось, они светились изнутри, возвращая поглощённое солнце, сами маленькие солнца. И поскольку моё участие в торговле было поневоле пассивным и о чём торговался мой друг со своими соплеменниками и принцип его выбора были мне неясны, я полностью предавался восхищению и созерцанию. Я стал классифицировать фрукты по принципу солнечности: помидор солнечнее огурца, а груша солнечнее яблока, но всех солнечнее, как ни странно, абрикос, — так рассуждал я... Отсутствие табличек с ценами полностью устраняло возможность моего участия в торге, но само по себе это отсутствие мне нравилось, обозначая некий первородный и живой принцип торговли, где сделка ещё и какой-то союз, отношение и родство. Мне тут все казались родственниками.

— Как красиво, — вяло сказал я, обводя глазами это великолепие.

— Плохой рынок, — сказал друг. — Вот недели через две!..

Тут-то мы и поравнялись с этой сливой, и мой друг начал её покупать... То ли достойная женщина никак не ожидала покупателя, но наше появление оказалось как бы внезапным для неё, и за своё дело торговли, после секундного замешательства и словно в компенсацию его, она принялась слишком порывисто, хотя и не роняя нисколько своего достоинства. От резкого её движения верхняя слива покачнулась и, чуть помедлив, покатилась. И женщина, и её дочь чуть подались вслед за ней безотчётным движением, но ловить её было уже поздно и, помимо того, что был риск, ловя одну сливу, своротить всю пирамиду, как-то и непристойно. Так они обе застыли, остановив чуть заметное и непроявленное своё движение, и следили за падением сливы. Я тоже несколько замер, меня всегда гипнотизирует неожиданное падение. Слива скатилась с пирамиды, прихватив за собой ещё одну. Они спрыгнули с мраморного прилавка на плиточный пол и

резво покатились, обгоняя друг друга.

Мы проводили их глазами до полной остановки, и достойная женщина уже взвешивала сливы моему другу. Две сливы лежали неподалёку одна от другой на грязноватом полу, и над ними ходили люди. Женщина успешно и споро справлялась со своим делом, но тайком, помимо своей воли взглядывала на те две сиротливые сливы. Их заметил мальчишка, мы посмотрели на него с надеждой, но время базарных беспризорников, подбирающих с полу, давно прошло... Люди стали жить богаче... Какой-то человек чуть не наступил на сливу, но в последнюю секунду, неуклюже вздёрнув ногой, обошёл стороной. Мы вздохнули.

Две маленькие сливы дешёвого сорта. Как мне объяснить, что во всех этих переживаниях нет ни нищенства, ни жадности! Просто жалко, что они пропали, что их раздавят, что их никто не съест.

Эта жалость к сливе была благородна. Это было уважение к сливе. Цена земли и цена труда в каждой его капле.

В этом тоже культура.

Культура даром не даётся. Если коренные ленинградцы до сих пор не способны выбросить зачерствевшую корку на помойку, то это означает вовсе не близость к земле и уважение к труду землепашца — этого, быть может, уже нет в их крови, — но если вычесть сегодняшнюю сытость из этой вот не выброшенной, а непременно пристроенной куда-то корки, то в разности получится блокада. И этот глубокий и далёкий голод даёт людям, давно забывшим землю, элемент крестьянской культуры. И не только это уважение к хлебу есть культура, но и к такой культуре необходимо относиться с уважением, как к хлебу.

Пища — это пища. Не только жизненная функция, но и понятие. Этим открытием я во многом обязан Армении. Там сохранилась культура еды, ещё не порабощённая общепитом.

Я закрываю глаза и вижу этот стол... Вот помидоры, такие круглые, такие красные, такие отдельные друг от друга. Вот кулачок деревенского сыра с отпечатавшейся на нём сеточкой марли. Вот лук — длинные немятые стрелы в капельках воды. Вот зелень — зелень зелёная, зелень синяя, зелень красная, целый воз, целый стог. Это не еда — это кристаллы еды, это не соединения — элементы. Вот уж что бог послал...

И стопка лаваша... Как древняя-древняя рукопись. Лаваш — отец хлеба, первый хлеб, первохлеб. Мука и вода — так я понимаю — кристалл хлеба. Вечный хлеб. Вот развёрнуто влажное полотенце — и вздыхают вечно свежие страницы лаваша.

Это чистое-чистое утро. Садится мой друг. Сажусь я. Мы отрываем угол лаваша, кладём туда стрелы лука, стебли травы и сыра, свёртываем в тугую трубку, не спеша подносим ко рту, чисто откусываем и не спеша жуём. Мы не торопимся, мы не жадничаем, мы и не гурманствуем — мы едим. Мы уважаем хлеб, и уважаем друг друга, и уважаем себя.

— Лаваш — это хлеб, — говорит мой друг, отрывая новый лоскут. — Лаваш — это тарелка, — говорит он, укладывая на лаваш зелень. — Лаваш — это салфетка, — говорит он, вытирая лавашем рот... — И съедает салфетку.

Я не видел в Армении грязных тарелок, недоеденных, расковыранных блюд. В Армении едят достойно. И дело не в ножах и вилках, не в салфетках. Можно, оказывается, есть и руками... Вытирать тарелку хлебом, потому что было вкусно, всегда вкусно. И не только поэтому.

Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культура, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и образованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бывает наделён и неграмотный человек, я бы

определил её как способность к уважению. Способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре — следовательно, способность к самоуважению, к достоинству. И поскольку я не был бы удовлетворён этой формулировкой, мне бы показалось, что она неполна, я бы ещё добавил — способность не нажираться. Обжирается и пресыщается всегда нищий, всегда раб, независимо от внешнего своего достояния. Обжирается пируя, обжирается любя, обжирается дружа... Выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, отталкивает друга... Грязь. Пачкотня. Короткое дыхание, одышка. Такому положено ничего не иметь — голодать, только голодный он ещё сохраняет человеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб. Сытый, он рыгает и презирает всё то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, алкал. Алкал и наедался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже сыт, такая якобы духовность... Поводит мутным взором, что бы ещё оттолкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал своё голодное стремление к свободе, нажравшись. И теперь его свобода — следующая ступень за сытостью — хамство. Потому что опять он не имел, не владел, дорвавшись, и теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на всё то, к чему так позорно оказался не готов, — к обладанию.

С избытком справляется только культура. Некультурный человек не может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда разорится, а потом будет разорять.

— Нравится тебе лаваш? — спрашивает друг.

Как бы мне ему выразить — как он мне нравится! Я говорю:

— Я бы ввёл наивысшую премию для поэтов: если он напишет строку истинно прекрасную, то её напечатают на страницах лаваша...

— Правда, правда, — радуется друг. — Ты тоже, значит, заметил, что лаваш — как древний свиток...

— Какое бы место из своей книги, — говорю я, большой поклонник этой его книги, — ты бы выбрал для того, чтобы напечатать на лаваше?

И мой друг, способный написать о людях, которыми руководят только ветер, солнце и облака, который может написать, как человеку жарко, только жарко — и вам жарко; как одна буйволица в одной деревне, где уже не осталось буйволов, рано утром уходит от своей старой хозяйки и бредёт по горам Армении из села в село, где тоже нет буйволов, исполненная непонятной и прекрасной тоски, она идёт по этой прекрасной стране, где нет буйволов, и всё это только через неё, только через запахи, простые картины и звуки, и как она буйвола не находит и возвращается... И мой друг, способный написать такое, говорит с искренней сокрущённостью и серьёзностью:

— Нет, такого, чтобы — на лаваше, я, пожалуй, ещё не написал.

О эта страна, где меня спросят:

— Андрей-джан, что ты хочешь, персик или помидор?

И если я отвечу правильно, на меня посмотрят с любовью и благодарностью, как на посвящённого.

Семья и маска

В конце концов, плод любви — дети. Об этом и напоминать-то как-то неудобно. Скажем для тех, кто, погружаясь в процесс, теряет цель из виду. Напомним тебе.

Конечно, все любят своих детей. Отдать предпочтение какой-нибудь нации рискованно. Все мы любим своих детей, но по большей части раз уж они получились. Родовое заглушено.

Тут следует разобраться в простых словах. «Пора жениться» и «пора обзавестись семьёй». Что впереди, «курица или яйцо?» — это не так уж бессмысленно. Скажем так: все мои друзья женились по любви. То есть была первая любовь и прошла, была ещё

одна, две, десять, сто женщин. Казалось: вот люблю. Оказывается: нет, вроде не люблю. Наконец исподволь, может, даже с удивлением, обнаруживалась любовь к одной из них, к последней, желание видеть её всё чаще, всё время, всегда, невозможность потерять её, представить с другим, желание удержать навсегда — женились.

Высшая мера, потолок. Значит, целью всё-таки была женщина, любимая, желанная, но одна. Двое — с удивлением обнаруживалось — семья. Дети — туман, отрезвляющий и пугающий. Появление их чаще связано с неким неравновесием, атмосфера конфликтна и драматична. Обилие бездетных молодых пар, где неравновесие, неуверенность, непрочность — источник страсти, длина брака... И если ребёнок всё-таки появляется, то осмысленность, природность семьи опять воспринимается с некоторым удивлением.

Я готов предпочесть мужицкое — «довольно по свету шляться», «пора иметь свой угол», «пора обзавестись семьёй». Мужик испытывает тоску по назначению, уговаривая себя расчётом. Выгоды между тем в браке нет, есть смысл.

Все, конечно, любят своих детей. В основном потому, что мой. Слепое чувство. Мой, а не соседа.

Как любят детей в Армении? Если бы не было в принципе нелепым членить чувство, то, во-первых, вообще очень любят детей, во-вторых, потому что мой, в-третьих, потому что Матевосян, Петросян, Ионнесян из рода Матевосянов, Петросянов, Ионнесянов, в-четвёртых, потому что армянин, ещё один армянин. Тут-то и смыкается кольцо — во-первых и в-четвёртых: исполнение долга, биологического, национального и личного.

Надо, чтобы тысячелетиями тебя вырезали кривым ножом, чтобы ты понял: вот твой сын, он будет жить на твоей земле и говорить на твоём языке, он будет сохранять землю, язык, веру, родину и род.

Это не просто твой сын, не только твой сын.

Любовь к детям в Армении достойна. Сильна, но не аффектирована, нежна, но проста. Воспитание детей имеет, как мне показалось, одно общее отличие от того, что я привык наблюдать у себя дома. Отличие, по-видимому, принципиальное: наше влияние и власть над детьми расположены с возрастом по убывающей, у них — по возрастающей.

Чувство меры в проявлении любви — основа воспитания. Как чувствительны дети к этой мере, к этой ровности! Устойчивость, верность, постоянство, спокойствие прежде всего вызывают доверие в душах маленьких консерваторов. Экспансивность в ласках, наверно, почти равна окрику и удару. Просто при ребёнке надо постоянно держать себя в руках — это не противоречит нежности. Это постоянное волевое усилие, оно трудно, но, наверно, входит в привычку.

Конечно, с каждым человеком всё в его жизни когда-то происходит впервые, когда он не вооружён тем или иным опытом. Тем более первый ребёнок — тут многое можно понять. Но, во-первых, вооружение опытом — вещь вообще очень спорная, и, живя, нам всю жизнь поступать впервые, и я не очень-то верю в применимость прежнего опыта, тем более личного, к последующему, настоящему мгновению. А во-вторых, рождение ребёнка, даже первого, дело столь естественное, природное, что травма сюда прокралась именно от цивилизации, от разрыва с собственной природой, некоторой биологической атрофированности.

К таким мыслям я приходил, наблюдая и сравнивая...

Например, меня поразила какая-то немыслимая, абсолютная свобода младенца, такой мне не приходилось наблюдать раньше... Я вошёл впервые в квартиру моего друга — семья была на даче, — стал озиаться: как он живёт, мой друг? Вот стиральная машина, я таких не видел — пощупал. Брякнула отломанная крышка. «Это Давидик», — с удовлетворением сказал мой друг. «Как? — удивился я. — Ему же два года!» — «Нет, двух ещё нет», — сказал друг. Я торкнул пальцем в пишущую машинку. Она тускло звякнула,

как консервная банка, — она не действовала. «Это тоже Давидик?» — пошутил я. «Давидик, — чуть ли не гордо сказал друг. — Извини, у меня только такая чашка, — сказал он, наливая кофе, — было двенадцать, осталась одна». — «Давидик?» — «Давидик». Я представлял себе виновника разгрома, этого юного Пантагрюэля, и гордился гордостью моего друга. «Хорошее имя, — сказал я, — подходящее. Он сокрушит Голиафа...» Каково же было моё удивление, когда я познакомился с Давидиком! Это был нежнейший мальчик с лицом ангела, и у него болели ушки, такой зайчик-ангел, слабенький и болезненный, тихий, даже грустный. И чтобы он мог учинить тот разгром, я не мог поверить. И тут же, чтобы развеять мои сомнения, Давидик хлопнул об пол последнюю чашку. «Ах! — радостно всплеснула мама. — Ай, Давидик! Ай да Давидик!»

Так и улыбаются у меня до сих пор перед глазами мама Давидика, папа Давидика, сам Давидик над осколками, округлив глаза, разведя ручки... И я улыбаюсь как-то завистливо и счастливо, и свет моего детства, тот неповторимый свет, который освещал тогда другие комнаты, освещает мне эту сцену.

«Вах! — говорит мама. — Он уже второй сервиз перебил!» И это звучит так — ничего, купим третий. Должен сказать, они были не настолько богаты.

Старшенький же, тоже небольшой в общем ребёнок, мог бы показаться пасынком, настолько с ним были строги. Строгость как бы возрастала прямо пропорционально пробуждению сознания. И к тому возрасту, когда, по моим наблюдениям, в наших семьях дети окончательно выходят из повиновения, а родители всё более попадают в зависимость, здесь, казалось, строгость отношения достигла уже таких пределов, что отпадала даже необходимость проявлять её, а возможно, просто неприлично было бы, если бы при госте была заметна хоть малейшая чёрточка отношений... И дети превращались в тех невидимок и неслышимок, когда лишь в глубине за приотворённой дверью, если ветерок отодвинет занавеску, можно заметить тень подростка, а разглядеть его поближе удалось бы, лишь если отцу во время нашей неторопливой беседы захотелось бы вдруг похвастаться, какие сын-дочь растут у него. И то тут же — лёгкое подталкивание отцовской руки, напутственная неширокая улыбка, и подросток уже исчез навсегда.

Во всяком случае, того, что в наших семьях называется «разбитной мальчишка», или «ах, этот возраст», или «что за непосредственность», или «сколько в них энергии, жизни», ничего такого я не слышал. Или, чтобы справиться с чувством неловкости от быстрых обобщений, просто семейная жизнь, в том числе и дети (за исключением младенцев), никогда не вылезала на видимую поверхность, когда вы посещали дом и хозяин занимал вас беседой. Я уходил из дома, столь же непосвящённый в семейные отношения, как и приходил. И тут, по-видимому, нечему особенно удивляться, разве лишь тому, что порядок вещей с каких-то пор и по каким-то причинам является для тебя удивительным.

И старший по возрасту становится старшим по положению — что же тут непонятного? — ведь обязанности расширяются много быстрее прав...

И как бы я ни изощрялся в привычной наблюдательности, я узнавал о частной жизни не больше, чем фотограф, приглашённый сделать семейный портрет, — только стилизанные черты лиц да фирму мебельного гарнитура... Да и почему бы мне, постороннему, за час составлять представление о том, что складывалось годами? На каждого хватает его семейной жизни, не правда ли? Здесь я мог не загружать себе голову посторонними знаниями психологических рисунков, катаральных переживаний и половых вкусов гостеприимной семьи. И на этой счастливой и приветствуемой мною невозможности проникнуть глубже я с удовольствием ограничу свои наблюдения над семейной жизнью Армении. Ибо никаких эпитетов к семье, судя по тому, что мне удалось видеть, кроме «ладная, дружная, крепкая», я, по-видимому, не найду. А в нашем языке они давно стали

штампами.

Постепенно я уставал от отсутствия распушенности — негде было расслабиться. И мне становилось скучно. Здесь в семейных синематографах показывали лишь нудные лакировочные картины, не идущие ни в какое сравнение с нашими неореалистическими достижениями.

Я, естественно, старался вести себя прилично. Раз уж ты не способен в одночасье залопотать на новом языке, то, по крайней мере, приходится следить за тем, чтобы не совершить невзначай того, что не принято в этой стране. То есть поневоле ты всё меньше располагаешь возможностью быть собою и становишься представителем, всё более подчиняясь тупой логике представительства. Ибо если тебе по неведению чьи-то индивидуальные черты могут показаться национальными, то тем более, раз ты один среди иноплеменников, обезличиваются твои замашки и привычки и вдруг начинают представлять как коллективные и народные. Тут и усредняется пришелец, сам, по собственному почину... О туристе я всё чаще думаю в среднем роде. И всё с большим трепетом думаю о возможности маршировать по Парижу с широкой расплывчатостью среднего пола на лице...

Прилично вести себя нетрудно, потому что неприлично вести себя опасно... Если бы даже это было моей неотъемлемой чертой, я бы, наверно, быстро сообразил, что не стоит в Ереване знакомиться с женщинами на улице и вряд ли мне удастся проникнуть по водосточной трубе на ночной балкон... От всего этого, скажем так, было нетрудно отказаться. Тем более что (и за этот свой конкретный опыт я поручусь) мне ни разу не удалось встретиться (не призывным, не игривым — просто обыкновенным, случайным) взглядом ни с одной незнакомой армянской женщиной или девушкой. Мне было уделено не больше, а меньше внимания, чем любому столбу или забору. Я бы считал такую задачу в отношении себя противоестественной и нарочитой, если бы это «невстречание» с моим взглядом не давалось им столь же легко, как дыхание. В том-то и дело, что это не стоило им никакого труда: они не замечали того, как они меня не замечают. Меня, правда, занимало, как они видят окружающий мир и так ли уж не видят меня? Нет ли тут какой-либо особенности в восприятии спектра?.. Но вдруг подумал: а что, собственно? Что за манера такая — глазеть на кого попало? Какая цель?..

Странное всё-таки это рассуждение: принято и не принято... Только улавливая, что же не принято в той или иной чужой семье, среде, стране, глупо удивляясь, что у «них» всё не как у людей, начинаешь понимать, что же принято в твоей семье, среде, стране... А потом приходит простая мысль: а вдруг то, что у тебя «принято», то, что ты полагаешь единственно естественным и правильным порядком вещей, — и не так уж естественно и правильно и, может, в лучшем случае, до крайней степени условно?

Ну ладно, на третий день я разучился пялиться на женщин, и это можно пережить. В конце концов, у меня даже освободилось время замечать иные предметы и подумать о них. Между прочим, довольно много времени.

Тут мне хочется привести один примечательный разговор.

Однажды во дворе дома моего друга, где гулял Давидик, меня представили соседке, как бы интеллигентной мамаше в очках. На руках у неё сидел толстый младенец и неловко пожирал мацони, поливая мамину грудь. На маме был джерсовый костюм, и такая широта в отношении к импорту поразила меня, хотя я уже был знаком с Давидиком... «Лишь бы ел...» — спокойно сказала мамаша, проследив мой взгляд и правильно поняв его. Она равнодушно посмотрела на свою грудь, покрытую простоквашей, и стала расспрашивать меня о впечатлениях. После рядовых — как вам понравился Ереван и как вам нравится в Армении (очень и очень) — она задала мне

внезапный и единственный в своём роде вопрос, так и брякнула:

— А как вам нравятся армянские женщины?

Я растерялся. Я сказал, что встречаются удивительно красивые лица. Я сказал, что в общем не очень-то присматривался.

Она удивилась.

Я пояснил, что быстро постиг невозможность какого-либо контакта и перестал смотреть.

Она как бы опять удивилась и не поняла.

— А вы бы женились на армянской женщине?

Теперь ещё раз удивился я.

Мы плохо понимали друг друга. Она сказала:

— Разве вам не хотелось бы, чтобы вы уехали на три года и наверняка знали, что жена не изменит?

— Ну, видите ли... — промямлил я.

Долго не шёл у меня из головы этот разговор, не порождая в то же время каких-либо отчётливых мыслей. И лишь сейчас, и то неотчётливо, думаю о том, что мне хотелось бы не столько даже гарантированной верности моей жены, сколько собственной потребности в этой вот непреложности понятий: жена — семья — верность...

Аэлита из Апарана

Конечно, разочарование стережёт наши надежды. Однако скептицизм, которым мы попробуем в этом случае вооружиться, одна из самых непрочных вещей на свете, как, впрочем, и всякое вооружение. По сути, скептик — это существо, обращённое к каждому без разбора с мольбой, чтобы его разубедили в его горьком опыте. Ахиллес, демонстрирующий свою пятку. Пожалуй, нет существа, более готового заглотить наживку надежды, чем скептик. И так глубоко заглотить... Потом, конечно, есть возможность утверждать, что меньше всего на свете мы могли этого от себя ожидать или что «так мы и знали». Это одно и то же.

Впервые я увидел её... но я понятия не имел, что увидел именно её.

Мы стояли с другом посреди деревеньки (конечно, это была древняя столица Армении), на площади, рядом с дремлющим чистильщиком обуви, и, точно так же, как в Ереване, томились и ждали кого-то, а я не знал кого. Посреди улицы застыл зной, и на дно его осел слой толстой ленивой пыли. Никого. Мы стояли в особенно чёрных от жары ботинках, только что к тому же начищенных (и это дело сделано!), стояли, не переступая ради их блеска, чтобы не утопить их тут же в лужах пыли, и я прискорбно думал о природе гостеприимства. «Что за рабство такое — нарушать всё течение своей жизни, бросать семью и работу ради того, чтобы гость изнемог от вина, мяса и невозможности побыть одному? И всё это, чтобы потом быть обязанным исполнить тяжкую работу гостя в ответном визите... И так запутаться в этой непреложной последовательности, чтобы не знать, ублажаешь ли гостя или мстишь ему, оказываешь ли уважение хозяину или досаждаешь?..»

— Аэлита! — позвал друг.

Смешная девушка направлялась к нам: коротенькая, крепкая и красная, как помидор; с тщательно уложенной башней на голове; в мини-платье из чёрной с золотом тафты и босиком. Коленки её, тоже толстенькие и красные, гримасничали при каждом шаге. Аэлита было её имя, вполне по-армянски. Меня, конечно, с ней не знакомили, что я, не вдаваясь, уже принимал как должное. Она на меня не смотрела и не видела, чему я тоже не удивлялся: может ли хорошая, молодая, чистая, здоровая девушка, определяемая одним словом — «невеста», обращать на меня внимание? Невеста и должна быть скромной... Она слушала, что ей говорил мой друг, и только пальцем шевелила в пыли...

Они говорили — я не знал о чём и продолжал свой ход мыслей, ибо только в нём был волен... Что за неотклонимость этих трасс угощений и зрелищ! На такие траты у нас в России решаются лишь в исключительных случаях рождений, свадеб и смертей... Однако попробуй отклониться от этого щедрого маршрута! Он проложен для гостя, а не для тебя — вот и будь гостем, а не собой. Словно бы в этих каналах гостеприимства тобой-то как раз и не занимались — от тебя откупались. Малейшая мысль именно о тебе, а не о госте, была уже затруднительна, озадачивала, утомляла и ставила в тупик. То есть в ритуалах гостеприимства не было участия. Они стоили сил и средств как работа и время жизни, но не имели стоимости любви.

Так мелко думал я, разрешая неразрешимую задачу: нам опять предстоял пир, к которому велась серьёзная и трудоёмкая подготовка, а мне хотелось через улицу перейти в аптеку, но мой друг ни за что меня туда не пускал: одного, говорил, не могу пустить, — но и со мной туда тоже не шёл. «Слушай, зачем тебе в аптеку?.. — морщился он. — Не надо тебе в аптеку...» Так вот: почему было легче пир устроить, чем в аптеку со мной зайти? — и было мне окончательно непонятно.

Аэлита нарисовала три босых крестика и ушла.

Что мне не уставали объяснять по десять раз, а что никогда не объясняли... Простых-то вещей как раз и не объясняли. Например, мне пришлось очень удивиться, застав, по возвращении в Ереван, ту же Аэлиту в квартире моего друга, играющей с его детьми. Она же ничуть не удивилась моему приходу и по-прежнему не заметила меня. Ну почему бы, казалось, мне тогда было не объяснить, что она родственница, племянница, троюродная сестра? Нет, это было ни к чему. Вот эта твёрдость и определённости, с которой за меня решали, что мне может быть интересно, а что не может, — и есть языковой барьер: ни за что, кроме предложенного, я не мог зацепиться сам. Я был своего рода калека-глухонемой: со мной объяснялись и меня понимали лишь самые близкие люди. Друг.

Но друга в этот вечер не было дома: у него было дело, которое он не мог отложить. Я уже научился не знать и ждать: я терпеливо просиживал диван, наблюдая Аэлиту. Как быстро её полюбили дети! Они ползали по ней, исполненные нежности и восторга. Она была невозмутима и двигалась внутри этих объятий плавно и свободно, как купальщица. Жаль, что я не мог понять, что она им так тихо и бесстрастно рассказывала, — но глаза детей время от времени круглели и рты расстёгивались. Она извела всю шоколадную фольгу в доме на короны: все трое сидели теперь в коронах, — и бесконечно рисовала красавиц вроде бы для детей, но и для себя, испытывая на них фасоны и моды. Красавицы, тоже все в коронах, были, не в пример ей, все очень длинные и узкие, с распущенными пышными волосами, кривыми, как турецкие ятаганы, ресницами, огромными среди ресниц глазами и крохотными, точечкой-сердечком, губками. Так они стояли в длинных до полу платьях, воплощая макси-предчувствия Аэлиты. Хуже всего получались у них руки: красавицы, совершенно не по-светски, не умели обращаться с ними, не знали, куда их деть: растопыривали их, как пингвины. Аэлита меняла им рукава, плечики, вырезы на груди... Дети с восторгом переводили взгляды с рисунка на неё, с неё — на рисунок: до чего похожа их красавица-королева!.. Да, Аэлита не собиралась всю свою жизнь проводить в няньках! — вот что она рисовала. Я сидел и ждал друга и час и другой — род мебели; дети не видели меня из-за Аэлиты, которой были поглощены, Аэлита не видела меня по природе своей, жена друга старалась реже попадаться мне на глаза, может быть, потому, что совершенно не знала, чем меня занять. Так я сидел и вдруг обнаружил, что, как и дети, уже привык к Аэлите, привык, как мебель к хозяину.

Тут появляется сестра жены друга Жаклин — и ситуация разрешается: бремя моего

времени равномерно ложится на плечи этих милых женщин. И так сразу становится весело и непринуждённо, что я впервые понимаю, что до сих пор ставил жену друга в положение неловкое. И это опять то простое, чего мне никто не объясняет и чего я сам попятить не могу — другая страна: сама ли пришла Жаклин, к радости и облегчению сестры, или та специально её вызвала?.. Так я и спотыкаюсь лишь на самых плоских местах — где надо проявить понимание, там-то я вроде понимаю сразу.

Нам становится легко, мы решаем идти все троём в кино. Жена друга так рада: теперь у неё наконец есть Аэлита, теперь она наконец хоть ходит в кино! Но без сестры она не могла бы пойти со мной и сестру одну со мной не отпустила б. Так, махнём рукой и не поймём, слава богу. Мы идём в самый новый, роскошный суперкинотеатр. Тем более замечательно, что идём мы на «Фантомаса», потому что южный темперамент зрителей... смотреть на того, кто смотрит, — ещё одно удовольствие.

Всё разрешилось — и опять не всё. Взгляд жены друга становится печален и короток: совсем уж неведомое мне соображение приходит ей в голову — и она нет, не идёт, вспомнила одну вещь... Зато новая радость озаряет её: с нами пойдёт Аэлита! Она же впервые в Ереване, сидит взаперти уже третий день — пусть посмотрит.

Всё так сложно! Мне кажется, мы так и не пойдём никуда...

Но Аэлита появляется невозмутимо и мгновенно, уже готовая: в том же золотом платье, только уже не босиком.

Это был действительно выдающийся кинотеатр, построенный столь оригинально, что при вечернем освещении я так и не уловил, как же он выглядит в целом: казалось, он висел над землёй, как приземляющаяся летающая тарелка. До начала сеанса было много времени, мы сидели в бесплотном кафе, состоявшем из дырок, теней и каких-то трепещущих подвесок. Болтала Жаклин, Аэлита молчала. Меня так поразило, что впервые в жизни попав из деревни в большой город, она не была ни возбуждена, ни любопытна, как должна была бы быть любая наша юная провинциалка на её месте, что три дня просто просидела, не вылезая из дому, и, не вытаски мы её, так бы и сидела... меня так это удивило — я всё приглядывался к ней. Что это, тупость или ум особый? Мне уже начинало мерещиться, что ум. Оказалось к тому же, что приехала она не только в няньки, но и в институт поступать. Я пытался вовлечь её в разговор — напрасно. Тогда Жаклин перевела ей мой вопрос. Аэлита внимательно выслушала и ответила, но не мне, а Жаклин: она собиралась поступать на археологический, вот что. Я похвалил профессию и двинулся вглубь... Так мы и беседовали: я задавал вопрос, Жаклин переводила, Аэлита отвечала Жаклин, та переводила уже мне. Аэлита смотрела прямо перед собой ровными, спокойными глазами, не обращая ни на что внимания. Такая её беспристрастность показалась мне уже чрезмерной: и я-то впервые сидел в подобном кинотеатре и всё крутил голову, а в её деревне — один двухэтажный дом... — не грех и полюбопытствовать... Несколько юношей картинно, «иностранно», пили за стойкой кофе и разглядывали нас.

— Что это они?

— Русский парень пришёл в кафе с двумя армянскими девушками, — смеялась Жаклин, — ещё бы им не смотреть! — Так или иначе, она была довольна этим вниманием.

Значит, с одной было нельзя, а с двумя — много... подумал я. Кино!

Раздался звонок, и, под скрежет отодвигаемых стульев и шорох вставаний, я наконец поймал подобие взгляда, коснувшегося одного из изучавших нас парней: какая-то живая темнота словно бы сверкнула на дне её глаз, — и я заподозрил, что, может быть, она видит, значит, и раньше всё время — видела, что неподвижность её — напряжённа и восприимчива, и, кто знает, сколько она видит и как... Может быть, много и сильно, а

может, и ничего.

Зал под открытым небом напоминал форум. Над нами горели жирные южные звёзды, как в планетарии; мне казалось, мы взлетели и, если рискнуть подойти к краю и взглянуть оттуда вниз, то где-то глубоко под собой увидишь нашу милую, ещё не столь роскошно застроенную Землю и, расчувствовавшись, прочтёшь вниз длинные стихи об оставленной на Земле любви...

Ничего сверхъестественного в реакции армянской публики я не обнаружил.

Фантомас побезобразничал, и фильм кончился.

Мы вышли из кинотеатра, и национальная режиссура снова осложнила мною чьё-то существование, в котором я не поместился... Жаклин с кем-то поздоровалась и чрезвычайно смутилась. Она отвела его в сторону и долго объяснялась. Он выслушал её и молча ушёл. Она вернулась к нам, слегка утратив присущую ей жизнерадостность; чуть помялась; не умея что-либо скрыть по прямоте души, неуклюже посмотрела на часы, притворно охнула, что забыла позвонить маме... и теперь... что мы тут просто доберёмся, очень просто... И, махнув рукой, скрылась.

Так я остался с Аэлитой вдвоём.

Я намеренно изложил здесь более или менее последовательно и подробно всю систему уравнений, все действия сложения и вычитания, в результате которых такое оказалось возможным. Может показаться, что я говорю о незначительном, мельчу и вдаюсь в частности, однако вся эта система недопониманий является существенной частью атмосферы пребывания в Армении, и уверяю, что случай этот — невероятный, невозможный, практически не встречающийся в жизни города Еревана... Чтобы русский парень оказался в полночь в центре Еревана с семнадцатилетней армянской девушкой, ни слова не знающей по-русски!..

На улицах не было вообще ни одной девушки, даже с армянским парнем.

Небо за время сеанса затянуло, и звёзды погасли; фонари же горели изредка. Что-то навалилось на землю мягкое, тёплое и вкрадчивое, вроде тумана, но не туман. Запахло редким запахом какого-то стручка. Непонятный, наркотический ажиотаж расцветал на углах улиц, как ночной бутон: бесшумно мелькали стройные армянские юноши в белых рубашках, вспархивали из-за деревьев, как большие ночные птицы. Куда-то всё несло: останавливалась машина, какой-нибудь юноша внезапно отделялся от стены или ствола и тихо переговаривался с шофёром, склонившись... машина, резко газанув, уезжала и потом подъезжала снова. Ритуальное прикуривание от зажигалки.

Городской транспорт внезапно, в одну секунду, пока я отыскивал ту остановку, что выкликнула на бегу Жаклин, перестал ходить. Я понял, что даже приблизительно не представляю себе, в какой стороне наш дом и далеко ли. Я спросил Аэлиту, знает ли она дорогу. Она уверенно замотала головой отрицательно. Любопытно было бы представить, что творилось в её голове... Она тихо шла на полшага позади меня и несколько ближе, чем, по моим представлениям, могла себе позволить. Я осторожно поглядывал на неё, пытаюсь обнаружить в ней признаки хоть какого-нибудь волнения, — их не было.

Мы вышли на новую улицу, и это была не та улица, на которую я собирался выйти. Казалось, мы брели в другом городе, другой стране, ещё более других, чем Ереван и Армения... Мы проплывали мимо витрин, как рыбки за стенкой аквариума.

...Витрины в Ереване смотрят как-то удивительно наружу. То ли осталось что-то от наивности и прямодушия ремесленников, вешавших образец своих изделий над входом в мастерскую: сапог так сапог, ковёр так ковёр, — но когда идёшь по ночному Еревану и светятся изнутри магазины и мастерские, наполненные предметами, без человека обретающими абстрактное, отрешённое значение, то кажется: товар вышел из витрин и замер на пустой мостовой — вдруг стоит посреди дороги кровать с никелированными

шишечками или швейная машина, не крутится, не жужжит... Будто ночью в Ереване выставились поп-артисты.

Так мы шли меж этих странных предметов, по этой пустой выставке, всё нерешительней и, наконец, остановились. Аэлита послушно замерла рядом. На освещённом углу, где ночной магазин вот так смотрелся наружу и обнажённые его предметы, как существа иного мира, совершали свою вылазку в город, появилась группа юношей и застыла, как манекены из той же витрины, молча разглядывая нас.

Спросить дорогу я не рискнул. Может быть, я и испугался. Но если и испугался — то не за себя. Я вдруг понял, что если без приключений доставлю Аэлилу к другу, то буду сегодня совсем счастлив. Спокойно и верно ждала она, что же я предприму. Тут было посветлее, и я разглядел её лицо: пожалуй, всё-таки она волновалась немножко. Лицо её как-то посерьёзнело, утоньшилось и даже похорошело, и глаза будто стали больше и блестели чуть сильнее, хоть взгляд по-прежнему ничего не выражал.

— Ну, — сказал я, смело улыбаясь, — кажется, мы пошли не в ту сторону...

Она кивнула.

Я повернулся поуверенней, и мы пошли в обратную...

Она теперь шла настолько близко ко мне, что можно было лишь умудриться не касаться меня плечом, краем платья. Я странно переполнялся её присутствием, параллельным существованием и дыханием — юно и немо, забыто... Только потом, вспоминая, приходили мне те мысли, которые могут приходиться мужчине в подобном случае, — тогда же, уверяю, я был чист от малейшего, даже абстрактного, помысла. Всё-таки невозмутимость её была чрезмерной и, может быть, задевала меня... Как тень, повторяла она каждый мой шаг, что-то было в этом выучное, жвачное. Что это? Покорность судьбе? Покорность мне? Доверчивость или доверие? Что бы это ни было, дикий страх или сонное бесстрашие, она шла со мной рядом, как в поводу, и никакого сомнения в моём успехе у неё не возникало. Хотя видела же она прекрасно, что я не знаю дороги и не решаюсь спрашивать прохожих?.. Но если какое-нибудь переживание и таилось за её невозмутимостью, выражалось ею, то я льщу себя надеждой, что это было не то, что мы заблудились и нам что-нибудь грозит, а то, что мы вдвоём, вот уже час бродим по большому ночному городу. Ведь точно, что всё это происходило с нею впервые в жизни! И как бы далёк я ни был от её мира вчера и завтра — но в эту-то минуту...

— Ты совсем не знаешь по-русски?

— П-плохо. — Лицо её исказилось чем-то вроде улыбки.

— Ты не боишься?

Она старательно замотала головой.

Но я-то вдруг ужасно разволновался. Я стал насккивать на машины. Я умудрился остановить даже автобус, но ему было не по пути... И когда после каждой попытки я возвращался к Аэлите, то заставлял её ровно в той точке, где покинул, ждущей тихо и терпеливо. И если бы я отчаялся и побрёл куда глаза глядят, миновал окраины и вышел в поле, зашагал бы в гору, пересёк пустыню, вышел к морю и оглянулся — Аэлита бы оказалась у моего плеча: мог бы и не оглядываться. Так бы мы и состарились в этом походе, незаметно обрастая детьми и внуками... Такое было у меня чувство, когда, упустив очередное такси, я обнаружил, что она на меня смотрит. Это был действительно «марсианский» взгляд, как с обложки фантастического журнала: взгляд другого существа. Оно смотрело из себя — другая логика, другой мир... Помню, мне стало мучительно неловко от моих ужимок и прыжков, но я мог краснеть спокойно в этой темноте.

Наконец мы попали в какой-то «подкидыш» и поместились на одном сиденье.

Никогда не сидел я настолько не прикасаясь к соседу! Автобус вскоре набился, на меня давили — и я окаменел, как кариатида, сохраняя «зазор» между собою и Аэлитой. Чтобы никто (ни она) ничего не подумал такого!.. Свело поясницу и шею, но даже невольно, «под давлением», я не прикоснулся к ней. Волнение за её жизнь прошло, а за судьбу — осталось. Я был явно не в себе. Сейчас вижу ту дурацки-ясную улыбку жениха, что блуждала по моему лицу, — тогда не видел.

«А что? — думал я. — Переехать в Армению, жениться на Аэлите, наделать ей детей, потом уехать навсегда и знать, что она никогда мне не изменит?..»

И вот мы приехали, сошли, подошли к нашему дому — а она, всё так же доверившись, шла рядом, куда бы я ни пошёл... Это было всё-таки странно. Ведь мы уже не заблудились, нам теперь ничего не грозило, мне некуда было больше её провожать, нам некуда было больше идти: мы пришли. Я приостановился и повернулся к ней — она смотрела перед собой, взгляд касался моего плеча и уходил в темноту двора. Так она замерла и опять ждала меня: мы уже стояли у нашего подъезда! Она молчала — чего молчала? стояла — чего стояла? Может, сказать что-нибудь хотела?

«Может, после того, что я её проводил, я должен жениться на ней?» — насмешливо похолодел я.

— Мы же пришли, — сказал я вслух.

И тут же — это было феноменально! — расстояние между нами стало два метра. И не то чтобы она отпрыгнула в испуге, просто как-то сразу оказалось: два метра — новое качество...

И мы поднялись по лестнице, держа новую дистанцию. «Может, она не узнала свой дом?» — думал я.

— Наконец-то! — Каринэ, жена друга, уже так волновалась, куда мы делись, звонила Жаклин, они так волновались...

«Интересно, — подумал я, — что же их так волновало?»

Я сдал Аэлиту Каринэ в целости и сохранности, из рук в руки.

А друг мой задержался, так и не приходил.

Дети спали, я хлебал суп, Каринэ ждала мужа. Где-то на втором плане из комнаты в комнату ходила Аэлита с подушками. Была она безучастна и царственно невозмутима — ничего не произошло, ничего и не было.

«Нет, не должен...» — вздохнул я с облегчением и разочарованием.

Песенка

И ещё был случай. Совсем незаметный. Настолько «случай в себе», что его практически не было. Никаких внешних событий в нём не наблюдалось, и зритель ничего не видел, но события внутренние были столь страстны и властны, что забыть их я не могу и горячо помню.

Я уже говорил, что маленьким детям в Армении предоставляется значительная свобода, которой уже нет у подростка, а тем более у юноши. Но хоть в детстве ею дают насладиться и запастись на всю жизнь... Это относится и к девочкам. Им тоже многое позволено из того, что не позволено девушкам. Они могут поднимать глаза, они имеют право смотреть.

Вот единственный женский взгляд, подаренный мне в Армении.

Девочке было лет десять-одиннадцать. Это была очень красивая девочка, и смотреть на неё было радостно. (Так я определил границу, когда становлюсь «невидимым», — лет с четырнадцати. В десять лет любопытство ещё дозволено.)

Ещё один дом, друга друга друга... Мы сидели на веранде, потихоньку пили и беседовали... Девочка вбежала, не ожидая увидеть чужого, и замерла с разбегу. О, какой взгляд! Отец похвастался красавицей, она ещё раз обожгла меня взглядом, покраснела и

убежала. Я был смущён тем, что был смущён... Но, право, продолжая беседовать, не переставал я чувствовать её присутствие... Спиной, ознобом, кожей... Я с трудом заставлял себя не вертеть шеей и не шарить глазами. Она пробежала где-то в глубине двора... Вдруг показывалась из неожиданной двери... Отец ухмыльнулся в усы.

Так прошло с полчаса. Я разволновался от её мельканий необыкновенно. Наконец она пропала надолго. Я почти забыл о ней, и неловкость прошла. Как вдруг — не сбоку, не из глубины, не тайком — она вышла прямо к нам и, подойдя, вплотную, в упор посмотрела на меня. Я не выдержал её взгляда. Щеки её пылали, головка была смело поднята, взгляд открыт, и такая светлая решимость была во всей её фигурке, что мне стало окончательно не по себе. Как бы испытал меня, она отвернулась и что-то горячо сказала отцу. Отец ответил коротко, ласково, но решительно. Девочка вспыхнула и произнесла целую речь. Я впервые ощутил все свои границы сразу — я стал отличаться чуть ли не цветом кожи, чуть ли не негром почувствовал я себя на секунду — и всё не мог поднять глаза... Девочка не просила — требовала. Речь её была так пряма, горяча и горда, что отец сдался, хотя и с очевидным неудовольствием.

— Она хочет спеть... — сказал он.

Я изобразил на своём лице жалкую официальную радость, и на секунду в глазах девочки появилось презрение... Но тут она встряхнула (ничего не могу поделать) кудрями, лицо её осветилось, и она запела. У неё был прелестный голос, древняя песенка была очень красива, но теперь я мог смотреть на девочку не отрываясь, как бы не на неё — на певицу, восхищаясь как бы не ею — пением... Она умела петь, это была не детсадовская самодеятельность, она владела голосом и мелодией настолько свободно, что могла не владеть собой. Я не мог понять слов, но как мог я не понять взгляда! Вот уж кокеткой она не была...

Господи, что она во мне нашла?! Быть может, никогда в жизни не чувствовал я себя так жалко. Я видел как-то изнутри, до чего же я некрасив, стар, толст, нечист... Я сидел обрюзгшим мешком, и каждое моё движение казалось мне отвратительным. Моё лицо забыло, как не задумываясь сложиться в удивление, улыбку, восторг... Я пытался припомнить и выполнить за него эту работу. И это у меня не получалось.

Чувство моё было безнадежно, без надежды. И на что я мог надеяться?

Но каким бы жалким я себя ни чувствовал, в этом было счастье, возможность другой жизни...

И счастье это кончилось вместе с песней.

Голос её дрогнул и замер. Все захлопали, нежно и медленно складывая ладони. На меня обратился её страстный взгляд. И тут я струсил (хотя что бы я мог поделать?): я заозирался — все хлопали... От смущения я вдруг неловко сложил свои чужие, краденые ладони... Боже, как изменился её взгляд! Сколько презрения, стыда и жаркой ненависти объявилось в нём... Отец был прав: не стоило петь для меня.

Она уронила лицо, закрыла руками и что-то воскликнула несколько раз, досадное, обидное, от чего я пропал навсегда — притопывала в такт своему гневу. И убежала.

Больше ни разу, ни в глубине, ни из боковой двери, нигде не мелькнула её быстрая тень.

Я хотел, безумно хотел спросить, что же она воскликнула, закрыв лицо руками, но, слава богу, не решился.

Хозяин сказал тост. Я подымаю бокал. Я чувствую себя странно... Я заперт в этих стенах, я пленник и никогда не выйду отсюда... Утешаюсь тем, что вопрос той милой мамы не кажется мне уже столь бессмысленным.

Попугайчики (антитезис)

Я завираюсь. Я ловлю себя на том... Я всё время ловлю себя за руку, однако продолжаю писать, как непойманный. Я ворую у самого себя невозможность каждой следующей страницы, с тем чтобы написать её. И тут же ловлю себя на слове. Ловлю и отпускаю, кошки-мышки... Пиша, как не солгать? Обнаружив ложь, как не отшвырнуть перо? (Вот опять... Откуда же перо взялось? Когда машинка...)

Однако я забиваюсь в узкую щель...

Эта глава вся состоит из ряда путаных и непереваренных впечатлений, непереваренных в буквальном смысле, потому что не может человек переварить столько мяса и травы — даже зубы постоянно ныли от усталости... А пищеварение, от кого-то я слышал, тесно связано с головой. Это к вопросу о «богатстве», недавно затронутому.

К тому же и грипп, привезённый с Севана. Кому не приходилось простужаться на юге, тому этого не объяснишь. Жара, озноб; острый как бритва свет и скрежет чужой речи... Что может быть унижительней, чем неудержимо чихать на залитом солнцем, заваленном солнечными плодами, иноязыком и горячем базаре? Где моя национальная гордость, наконец?..

Она как насквозь мокрый носовой платок в кармане.

Всего этого более чем достаточно, чтобы ощутить себя несчастным.

Ничто, наверно, так не будит чувства родины, как обыкновенный насморк на чужбине. «Ностальгия аллергия» — непристойный, чувственный, пышно распускающийся бутон...

Мы приглашены на арбуз. Об этом, кажется, была речь ещё позавчера, так что это мероприятие. Для проверки ряда размышлений и догадок мне бы очень хотелось знать, имело ли бы место это мероприятие, если бы не мой приезд в Армению? То есть собрались ли бы все эти люди есть арбуз и без меня или они собрались все вместе за арбузом исключительно ради меня, точнее, благодаря мне? Со мною, из-за меня, ради меня или благодаря мне? Но этого я, по-видимому, никогда не узнаю... Целый день мы катались по Еревану из конца в конец, прибавляясь по одному, чтобы осесть всем вместе у нашего общего, ещё одного, друга вот на этой верандочке, выходящей во дворик-садик. А в садике перед самой верандочкой стоит огромная клетка с волнистыми попугайчиками, этими странными разноцветными птичками, выведенными людьми по каким-то их сокровенным представлениям о безоблачном счастье и радости...

И вот мы сидим. Мы сидим тут уже целую вечность — мы сидим тут всегда. Нарды, арбуз, попугайчики!.. Не знаю, в какой последовательности о вас поведать и какую извлечь из последовательности мысль.

Мой друг играет с хозяином в нарды, а их друзья смотрят, как они играют. Это им никогда не надоест... Я не могу сказать, что никому нет до меня дела, но, если бы и было, никто не знает, что со мной делать. От попытки понять игру в нарды я отказался, вернее, отчаялся понять, и меня остаётся только кормить арбузом. Как всегда — кормить... Что со мной ещё делать?

Азбузами до потолка завалена соседняя комната, и у меня такое впечатление, что мы призваны все их съесть прежде, чем уйти, потому что игру в нарды нечем остановить, как отсутствием арбузов. А их ещё много. Арбуз — это не плод, как все считают, и не ягода, как его объяснили в школе, арбуз — это мера времени, приблизительно полчаса. В соседней комнате гора высотой с неделю... Как бой часов с репетицией — кто-нибудь роется в этой горе и долго выбирает два арбуза, один час, потом выносит их и заряжает ими холодильник взамен съеденных.

Значит, мы играем в нарды и едим арбуз. Рассказано это по очереди, но происходит одновременно. Арбузы выбираются, остужаются, нарезаются и съедаются. То есть

съедаются уже давно остывшие арбузы, так что последовательность иная: арбузы нарезаются, съедаются и остужаются. Опять не так. Расставьте сами.

В одной руке у меня доля арбуза, в другую интеллигентно сплевываю косточки, и тогда я чихаю... Я кладу лопоту на перильца так, чтобы он не перевернулся, и он переворачивается, а зёрна сую в карман, чтобы достать платок... О, этот платок с налипшими арбузными зёрнышками! Мне хочется плоско-плоско лечь на полу и чтобы по мне пустился петушок поклевать мою прорастающую травку...

Всё-таки очень многого не знал я ещё в этой жизни!

Например, такого количества попугайчиков. Вряд ли это характеризует страну Армению. Но что я могу с ними поделать? Их было пятьдесят, не меньше. И все они галдели, и разноцветный их шум рябил в глазах, бесподобный по яркости, громкости, наглости и великой отрешённости от всего прочего мира, до которого им не было никакого дела. И все они целовались с какой-то непристойной торопливостью и деловитостью. Их разноцветные любовные треугольники и многоугольники, не обременённые моралью и не отягчённые Фрейдом, создавались и распадались с такой же мгновенностью и лёгкостью, как в калейдоскопе: любовь их была воздушна и геометрична. Они были деятельны в любви, какая-то направленность была в их вращении: по-видимому, каждому перецеловаться со всеми, чтобы всем перецеловаться с каждым и поскорее начать всё сначала, по следующему кругу. По времени, измеренному моей злостью, один их круг совпадал с одной партией в нарды. И пока расставлялись шашки для следующей игры, хозяин уходил к холодильнику, доставал остывший арбуз, вскрывал его с поразительным изяществом и проворством и раздавал зрителям ровные и красные доли, симметричные, как витринные муляжи... «Как галдят!..» — ласково улыбаясь и принимая арбуз, кивнул я в сторону попугайчиков. Я сказал это просто так, из вежливости, чтобы он не думал, что мне чего-нибудь не хватает... Но — не следует быть дипломатом! Хозяин понял меня по-своему. «А... — сказал он сокрушённо и виновато, словно извиняясь за неприличное их поведение. — Очень глупые птицы!» С этими словами он взял здоровую палку и треснул по перильцам рядом с клеткой. Удар получился звонкий, как выстрел. Хозяин улыбнулся мне сконфуженно — мол, всё с этим безобразием — и отошёл к нардам. «Вот и о попугайчиках не поговоришь...»

Это было, конечно, эффективно: одним движением обрезать столько натянутых в разные стороны разноцветных ниточек их голосов и столько же прозрачных ленточек их движений! Это казалось невозможным — так мгновенно, одновременно и поголовно замереть и замолчать. Попугайчики остановились во времени, не только в пространстве — так сказать. Шок, летаргия, соляной столб, сомнамбула, седьмая печать... не знаю, с чем сравнить чистоту и абсолютность их остановки. Впрочем, и я ведь настолько не ожидал этого удара, что замер, как попугайчик.

Господи! Мир! Чем мы лучше? Не так ли и мы замрём, когда очередной ангел снимет с книги очередную печать! Не висит ли наш, покрашенный в синее, жёлтое и зелёное, глобус где-нибудь на ниточке в твоём саду? Может, земля — арбуз с какого-нибудь твоего райского дерева? Не забыл ли ты о нас, задумавшись над очередным ходом в свои галактические нарды? А мы разгалделись... Лучше не вспоминай. Люблю тебя, господи, и надеюсь, что это взаимно, как поётся в песенке...

Попугайчики всё ещё не опомнились. Они замерли так искренне, что, наверно, забыли, что они живые, и решили, что умерли... Милые глупые птицы! Как же им не подумать, что они совсем исчезли, если самих себя они не видят, а в движении и любви перестали себя обнаруживать? (Даже не моргают... Какое большое, размытое пятно видят они вместо нас перед собой?) Пятьдесят маленьких чучелков — только сейчас их и можно разглядеть. У них не наблюдается внутренних противоречий, но наблюдаются внешние:

стройные тельца — и непонятная щекастость и толстомордость; солидность и благопристойность, даже чиновность, чичиковщина какая-то в лице — и такое легкомыслие!.. Как с такой благочинной внешностью, столь открыто предаются они любви? Даже непонятно. Словно это их служба. Любовь в мундирчиках...

Но вот ожил первый — Адам, — покрутил головой; ничего, а главное — можно! позволено жить. Затем другой... И вся клетка начала медленно просыпаться с той же постепенностью, как делаются в нарды первые стандартные ходы, прежде чем определится отличие и начнётся партия. А через несколько секунд Адам уже возродил новое человечество: крик, любовь, измены — содом! А партия подходит к концу, хозяин достаёт новый арбуз, потом берёт в руки палку, заодно пользуется случаем улыбнуться гостю, то есть мне, и... Ах, не могу!

Я решительно не понимаю, кто с кем проводит время: я — с ними? они — со мной?

Нарды, арбуз, попугайчики. Час, другой, третий... Расстановка шашек, первые ходы, игра. Разрезать арбуз, раздать доли, съесть арбуз. Рождение попугайчиков, жизнь попугайчиков, смерть попугайчиков. Четвёртый, пятый, шестой. Арбуз, улыбка, удар. Мысль о нардах, мысль об арбузе, мысль о попугайчиках. Время, где ты?

Я заперт, я в клетке. Каждый день меня переводят из камеры в камеру. Питание хорошее, не бьют. Сколько времени сижу, не знаю. По-видимому, скоро придёт приговор. Не знаю, увижу ли тебя, родная...

Я в клетке — на меня все смотрят. Нет, это они все смотрят на меня из клетки! А я-то как раз снаружи! Всех обманул...

Меня посадили в яму времени. Девочка с пением уже сбегает с гор, несёт мне свой кувшин... Кавказский пленник. Узник находит однажды в кармане затерявшееся арбузное зёрнышко... Сажает. Ждёт ростка. Росток — это те же часы: он распустит листья и затикает вверх, вверх.

Безвременье моё проросло наконец. И что бы я понял, что увидел, если бы не сумел тогда, в одной клетке с попугайчиками, постичь, что, кроме моего, существует иное, их время? Если бы тогда я не сумел отказаться от своего времени, не махнул бы на него рукой, не было бы у меня времени в Армении, а были бы часы, сутки, килограммы, километры непрожитого, пропущенного, действительно потерянного времени, взвешенного на браслетках, будильниках и курантах.

Только потеряв свой будильник, мог я прожить в настоящем времени несколько дней на чужой земле, а если непрерывно прожить в настоящем времени хотя бы несколько дней, то вспоминать их можно годы. Настоящее время относится к тикающему, по-видимому, так же, как время в космосе при скорости, близкой к скорости света (что-то из Эйнштейна), к земному. Настоящее время мчится с субсветовой скоростью, оставляя глубоко под собою прошлое и будущее, навсегда привязанные, стыкованные, притянутые друг к другу до полной остановки.

Я хотел посвятить эту главку оговоркам. На полях моей рукописи, по краям моих славословий скопились стаи птичек, галок, нотабене. Они были черноваты и вытеснены из текста. Мне вдруг показалось, что они не помещаются, потому что я начал лгать. Потому что на самом деле всё отнюдь не было так прекрасно, как я пишу. Мне казалось, что, совместив восторги с неудовольствием, я добыю правды повествования.

Куцая, козья мысль! Слава богу, другая правда, из свиты истины, вынесла меня в настоящее время, подсказала мне то, что я не знал, и утвердила себя помимо моей неуклюжей воли.

И мне не надо тяжко потеть над реализмом чёрных страниц.

Оговорки оговаривают прежде всего того, кто их делает.

Да, у меня насморк, несварение, ностальгия, и я в плену собственных впечатлений.

Самостоятельной правды нет ни в восторге, ни в неудовольствии. Так же не добьёшься её, играя в диалектику и примитивно прикладывая их друг к другу.

Правда же и диктуется только правдой. И правда этой книги в том, что, дописав её до середины, я обнаруживаю, что уже не в Армении и не в России, а в этой вот своей книге я путешествую. Пусть это даже некая фантастическая страна, домысленная мною из нескольких впечатлений по сравнению. Страна гуингнмов... И сам я новый Гулливер, лилипут, великан и сопливый йеху одновременно...

Я испугался, что забираю всё более высокий и уверенный тон лишь для того, чтобы убедить хотя бы себя в том, что продолжаю следовать действительным событиям, когда я им уже не следую. Опыт подсказывал мне, что приблизительность речи может скрасться за модуляциями голоса, незнание — за интонированием, неуверенность — за апломбом... Что убедительным тоном говорят именно лжецы. О, как трудно быть объективным своими нищими силами!

Да нужно ли?

Эта книга — всё-таки акт любви... Со всей неумелостью любви, со всей неточностью любви же... Кто сказал, что любовь точна?

Так пусть же всё и остаётся, как написано.

Любовь не лжёт. Лжёт желание любви.

Любовь не взвешивает своих признаний на весах объективности, у неё нет ни колебаний, ни выбора между «да» и «нет», а есть граница между ними, как между верой и безверием. Это нелюбви принадлежат тяжкие усилия быть честной, справедливой и объективной, у любви нет этих затруднений, Итак:

«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить».

ГЕХАРД

Врата

«Где он был?» — спрашивали про меня моего друга. Он перечислял. «Надо ехать в Гехард», — выслушав его перечисление, твёрдо и всегда говорили все. Единодушие это было утомительно, как сговор. Что Гехард? Где Гехард? Пожимали плечами. Никто не пробовал объяснить. Увидишь.

Гехард для меня был лишь имя, настойчивый, даже назойливый звук. В этом, как потом оказалось, уже был своего рода залог.

...Армянский простор, помахав, как бабочка, крыльями, потрепетав, вдруг сложил их, как бабочка. Бронзовый лев, необыкновенно похожий на кошку, повернул к нам голову и приподнял лапу, обозначив, что мы приехали. (Несколько позже, увидев такого же льва на древней стене, я понял, откуда взялся гений в профессиональном современном скульпторе).

Лев стоял на красиво-высоком столбе в горле ущелья. Мы въезжали в это горло как бы всё стремительней по мере его сужения, ускоряясь и ввинчиваясь, как вода в воронке. И, сложив крылья, вдруг с тихой лёгкостью очутились в ущелье.

И тут же кончилась сытость. Ясный голод и озноб зрения... Само это место было как храм. Оно было выстроено посреди простора, из простора. Как храм, оно имело вход (у врат стоял лев), и лишь за вратами открывалось помещение, как вздох и смущённая тишина речи.

Зрение здесь звучало.

Из простых щёк теснины, где увязал ветер, как дыхание музыканта в мундштуке трубы, вырываясь завитками раструба на простор, рождался зримый звук, необыкновенной широты и круглости одновременно. Мы оказывались в царстве, из

которого нет возврата, хотя этой невозможности вернуться ещё и не сознавали, и потому страшно ещё не было.

Пока мы дышали восторгом — и нами дышал восторг. Восторг пока ещё легкомысленный, без часа расплаты — туристский...

Слева, как хор, поднимались скалы. Низкого, тенистого, плотного звучания внизу, они росли вверх, светлея и утончаясь, несколькими ступенями: вступали всё новые, всё более высокие голоса, и наверху выветренные стрелы были уже как хор мальчиков; вправо и вниз, сворачиваясь спиралью, как раковина оркестра, лежало дно котловины: с духовым серебром ручья, зеленью, кудрявой, как флейта, спокойными и уверенными лбами ударных — валунов и глыб, — земная понятность придуманных инструментов, исчезающих в тайне человеческого голоса, как деталь в машине, как черта в лице, как лемех в земле — орудия труда и предмет того же труда. Всё это пропадало в хоре скал. С берега ручья вился дымок, вокруг копошились точки исполнителей: паломники жарили шашлык, и необыкновенно красное платье среди них казалось первым листком осени.

Перед нами стояла церковь, стройная, цельная, конечно тысячелетняя, и была она как подсобное помещение в этом естественном храме и уже не вызывала трепета. Её крепенькие стены со светлыми прямоугольниками современной штопки на стенах, её свежеецинковые крыша и шпиль ещё подчёркивали это впечатление служб при храме. Церковь же не была в этом ощущении повинна, поскольку во всех отношениях была шедевром, и никто, кроме окружающей природы, у неё этого титула не мог отнять.

Но за ней подымался новый хор скал, и церковь, приткнувшись к подножию этого отвесного звука, была лишь одним из исполнителей дивной музыки, одним из многих и забытых виртуозов прошлого. Ибо что такое исполнитель перед музыкой? Служитель, не творец же...

Небо было крышей этого храма. Ещё недавно, пред вратами, оно бледно голубело, вяло накрывая простор, а тут, очерченное хором скал, приобрело необыкновенную, глубокую и близкую, синеву.

— Господи! — воскликнули мы, глядя на эту застывшую в верхней, высшей точке музыку, и за спиной, как крылья, были ощутимы вскинутые руки её дирижера и творца — вечное, единственное, первое исполнение. — Господи! — воскликнули мы, утратив суетный стыд перед банальностью и утратив банальность вместе с этим стыдом. — Выбрали же место!

Восхождение

Да, это был природой уготованный храм, и так понятно, что он стал цитаделью и обителью раннего, гонимого христианства (армяне приняли христианство задолго до нас, в IV веке). Это место, столь неожиданное в Армении, столь ни на что в ней не похожее, которого просто и быть не может (но раз оно есть, то уже и не может не быть), было сначала создано специально для этой цели, потом ждало, безлюдное, своего часа, а потом было угадано первыми верующими...

Но место это, как оказалось, ещё не было Гехардом. То есть, конечно, оно носило это название, но это был Гехард без ударения на этом слове, это был просто Гехард. Тысячелетняя же церковь при этой местности тем более не могла быть тем Гехардом.

...Мы взбираемся вверх к древним пещерам-храмам, на первую ступень скалы, нижнюю нотную линейку. Входим. Время проваливается. Тесные, мелкие пещеры с закопчёнными неровными стенами напоминают забой. Даже следы шпуров обнаружил я, бывший горный инженер. Грубые ниши для образов, мелкие чаши для жертвоприношений, узкий желоб для стока крови, древняя, немажущаяся копоть кровли — и свежеецыарапаные имена, символы новой туристской эры, и современные цветные лоскутки (молитвы об излечении ближних), и современный воск растаявших свечей —

сталактиты этих пещер. Какая скромность и величие веры в этих нищих каменных углах^{*}. Храм был создан самой природой, а пещеры — его алтари. Никакого нарушения природной гармонии, никаких вмешательств и модернизации естественного храма. Скажешь слово — низким голосом откликнется скала, словно просыпается застывший в скале музыкальный строй. Тут была только молитва, и праздно сюда не придёшь...

Вылезает на свет, застенчиво щурясь. Рассматриваем, гладим выбитые на поверхности скал кресты. Кудрявый армянский крест! Как постепенно и прекрасно приобретал он свои канонические черты. Ни один не повторяет линий другого. Меняются пропорции, мягкость и округлость исчезают, тают, кресты становятся прямей и строже. Но первый крест — это цветок о восьми лепестках. Лепестки сближаются попарно — крест с расщеплёнными концами. И то ли крест произошёл из цветка, то ли художник уподоблял символ природе и жизни, раздвигая концы, раздвигая их и приближая очертаниями к цветку, — неизвестно, и спросить не у кого.

Спускаемся, проходим позднейшие, такие внешние врата высокой церковной ограды и направляемся к этой крепенькой и ладной церкви с куполом цинковым, как ведро. Я рассматриваю её равнодушно и праздно и в упор не вижу. Сейчас, думаю, мы попадём внутрь...

Но нет, мы снова начинаем карабкаться вверх, вдоль стены вросшей в скалу церкви.

— Пройдём сначала так, — мягко и настойчиво говорят мне.

— Что там?

— Сейчас увидишь.

О, эта достойная манера не предварять впечатление восторженными рассказами! Ни разу я толком не знал, куда и зачем меня ведут, и радости встреч не разменивались на предварение и представление. Пещерные молельни первых христиан тоже, оказалось, ещё не были тем Гехардом.

Высокое, но короткое чувство, возникшее там, не совпадало с суетной городской бодростью, прочно жившей в нас. Мы громко говорили, не глядя друг на друга. Впрочем, раздвоенность наша не была нами осознана, и мы лишь безотчётно стремились принизить высоту на миг вспыхнувшего ощущения. Наш взор развлекался деталями: росписью туриста на немыслимой высоте, продавцом фотографий генерала Андраника, куцей дощечкой: «Не сорить», пасекой, такой вдруг прекрасной и естественной на земле монастыря... Два работника копошились около ульев... Чувство наше снижалось, нам становилось всё легче, и, освободившись от смущения, мы стали как дети. Мы свернули с тропинки и закарабкались вверх по скале с неуместной спортивностью. Где-то мы повторяли себя, и наше одышливое, грузноватое мальчишество было несколько стыдно, по-видимому, каждому из нас. Но по отдельности, не вместе.

И сейчас мне кажется, что я понимаю, что же заставляет туриста выцарапывать своё имя, сорить, петь песни и фотографироваться в самых неподходящих местах — так сказать, осквернять памятники истории и природы... Высоко ведь, невыносимо высоко, до звона, стоит этот памятник по отношению к его невежественной душе! И в этой душе, такой неловкой, необученной, невнятной, рождается отзвук, и этот отзвук непонятен ему. Что, как не полное смятение чувств, может выкинуть его на столь смертельную (физически) высоту (физическую) — не только ведь девушка, стоящая внизу (не забирается же он на столбы или на стены домов в городе)? Думается, зрение истинного

^{*} Эти пещеры — ключ к истории нации. Армян резали как «неверных», но на самом деле их уничтожали именно за верность — земле, языку, Христу. Они теряли жизнь, но не теряли родины. Если бы, следуя естественному инстинкту самосохранения, они уступили веру, возможно, было бы пролито меньше крови, но нация бы растворилась и исчезла. Для армян слово «Гехард» — не только название святого места, но и некое образное понятие. Гехард — оплот веры. Словом «Гехард» можно объяснить многое.

величия и красоты глазу неподготовленному столь же раздражительно, как резкий свет или звук, и все реакции отсюда — по Павлову...

Почему громили варвары?

Кто же мы были, как не испорченные дети, в зрелом и совершенном обществе храмов и скал?..

Ну уж мы-то, писатели, могли полагать себя более подготовленными к совершенному зрению?.. Но нет. Так давно мы стараемся говорить правду миру и не говорим правды себе и друг другу. И теперь не только оттого не говорим, что скрываем, но и потому, что уже не знаем. Имён мы не писали (мы их уже выдвигали напечатанными, разве поэтому), но у нас то же самое принимало другие формы. Этот наш прозаизм, я бы даже сказал новеллизм, судорожно отыскивал детали самые заземлённые и низменные.

Так, карабкаясь, увидели мы на балконе второго этажа жилого дома, расположенного напротив храма, старика священника... Он сидел за столом и смотрел в книгу. Какая-то девушка, на втором плане, подавала на стол, появлялась и исчезала. Старик сидел совершенно неподвижный и смотрел в книгу (именно смотрел, не читал: казалось, и взгляд его, издали невидимый, был неподвижен). Был он разительно красив — с орлиным профилем, высоким чистым лбом, седыми кудрями, тощий, младокожий, бледный... Ах, как бедны слова по отношению к красоте канонической, совершенной, древней! Он не был артистичен или иллюстративно красив, этот старик, — он был так же высоко, идеально, абсолютно красив, как Гехард. И неподвижен, как здешний тысячетный камень. Он сел обедать и раскрыл книгу, но он сидел тут всегда, вечно — так казалось, на него глядя, — и даже стол перед ним с едой и питьём никак не мог заземлить его облика... Я и мой друг, мы одновременно и одинаково увидели этого старика и поняли это, поймав взгляд друг друга. «Какое лицо!» — пошло сказал я. «Да... — сказал мой друг, умный человек. — Вот я думаю, будь я так же красив, веди святую жизнь, доживи до таких волос... Может ли у меня быть такое лицо? Невозможно. Никогда». И опять это было для нас слишком высоко, чтобы уж всё, совсем всё, даже люди тут были так прекрасны!.. И приятель друга, шедший за нами, поэт, говорят, интересный, сказал, унижаясь, с нехорошей улыбкой: «А самое смешное, если он вот с таким лицом рассматривает сейчас порнографические картинки...» — «Ужас! — сказал я со смехом. — Самое ужасное, что это вполне может быть...» Ах, пусть он читает всё что угодно, но, именно раз мы можем так подумать про него, у нас никогда не будет такого лица!

И тут мы достигли неведомой мне цели. Небольшой вход, вырубленный в скале, напомнил мне входы в древние молельни, только что посещённые. Молча меня пропустили вперёд, и я шагнул в темноту пещеры...

Ах, мы были шалунишки!..

Вершина

Это и был Гехард... Я стоял в центре, задрал голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг — оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. «ОН начал оттуда... через это отверстие ОН и выдолбил весь храм...» — детским шёпотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, ОН, стоя там, на скале, наверху, когда храма ещё под ногами его не было...

От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, — и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырёх колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга

четырьмя округлыми лепестками полое тело храма; там уже, в далёких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание, — там уже я стоял, на плане. На плане угадывался всё тот же армянский крест-цветок...

Там уже я стоял, на дне... В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Всё это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны — такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.

ОН... выдолбил... во-он через то отверстие, сверху вниз... весь этот храм... Кто ОН? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий, как бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры — вот что Гехард.

Никакого крепления в храме не было.

Храм уже был в этой скале, надо было только выдохнуть оттуда камень... Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчёта, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания. ОН верил и видел единственное, вот и всё. Он мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать слова божьего — в нём был бог. У него не было чертежа, ОН имел в своём мозгу столь честные и чистые своды, что перенёс их сюда и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие бога.

Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов — у меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть — меня не было. И я стал подобен ЕМУ, та же немота, то же отсутствие себя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключён в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было ЕГО бессмертие.

Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать, как гостю, всё, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждый у одной из колонн. И запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботало. И многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как и линии храма, да и не могло быть другим. И линия и звук были подчинены здесь одному закону... Разве наше разветвлённое знание не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, тогда уже, конечно, — архитектура, чертежи, правила, расчёты, физика, акустика, машины — муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного...

Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на божий свет.

...Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная. То же, такое внешнее, светское тело церкви... Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь и там остывали стрелами в синем небе замолкшим на верхней ноте хором, — то же великое подобие ещё более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более первозданным, чем природа, и теперь природа уподоблялась ему. Всё это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были творением.

Тут всё, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чём же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чём-то как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо...

Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.

Побег

Мы поднялись ещё выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал... Это была чёрная немая дыра. «Вот почему, — сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру, — вот почему я так редко бываю тут... Если бы не ты, то и не был бы... Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, всё более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (её не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что чёрная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик — нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа её перед собой в щепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворёна, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием, — веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.

То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, — сказал шофёр, — была бы у нас бутылка, мы бы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку...»

Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когдаходишь — всё отворяется тебе, но когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.

А уж тут, а уж тут нас ждали одни радости. Всё легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и наконец к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни — это прекрасно.

Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохатывали, ржали, улюлюкали, гикали... Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной... Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами всё глубже темнело.

И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив всё позади и не заметив перехода, весёленькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофёр лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умилённый, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.

Мы расстались, пожав друг другу руки.

Всё очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась, — всего лишь ещё один день прожит, до свидания, до завтра.

СТРАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЯ

«Раньше и теперь»

Чем естественней и глубже становилось моё пребывание в Армении, тем расплывчатей и удалённой была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспособливался, вживался, пока мне было не по себе, цель эта ещё жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную тёмную силу не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплывало, как возмездие, и погрозило пальцем: не живи.

Срок командировки истекал так же неумолимо, как ещё в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал.

«Раньше и теперь» — таково было моё задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве.

Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн — это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход. И мне надо было выходить из положения. Вошёл-то я в него более или менее с лёгкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания.

Во-первых, «раньше». Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк М. Кольцова, чтобы знать, как раньше. Но даже очерка этого я всё ещё не прочёл.

Во-вторых, «теперь». Оно требовало безусловно восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания и было, по заданию, ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию. Ну прямо как в школе — всё, кроме уроков... Я бы покрасил забор Тому Сойеру.

Школярские, предэкзаменационные мысли...

Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже восторг отношения к ним был учтён архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так, чтобы вы не могли их не заметить, чтобы вами овладевал восторг в обязательном, рабочем порядке.

И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше: совсем плохое-плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее? Сразу изобличающее себя, постепенно изживаемое временем или годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружён, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант, почти дерзкие. И современники ощущали ветерок прогресса на своём лице. Но что-то случилось за эти годы — а здания остались стоять, хотя время их ушло. Они стоят в ином времени...

Не так-то легко разграничить «раньше» и «теперь», как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев, выросших от деревьев, недавно посаженных, и т. д., то такая формальная задача вряд ли интересна — естественный навык, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает ежесекундно, ежемгновенно, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется... По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу (как естественно для нас проводить её по 1917 году), то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днём всё растёт и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с

её личным прошлым, как, например, моя... и сравнение становится всё более умозрительным и далёким.

Значит, только «сейчас» или, самое большее, «только что» — вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока всё не умчалось в далёкое прошлое. И так ли важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор? Если здание, возведённое тысячу лет назад, и здание, вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле всё живое — современно. И то, что они стоят рядом, и есть теперь, а не только то, чего вчера ещё не было. Мир населён не одними новорождёнными...

Так что, о чём бы я ни писал, только настоящее интересует меня, только живое: и только что родившееся и давно живущее, и возникающее и уходящее в прошлое, но ещё не ушедшее.

Только теперь, думал я, только теперь...

И ничего не мог видеть после Гехарда.

Контрольная работа

...И следующее утро наступило, укоротив мою командировку ещё на день, а я так ничего и не предпринял, но и жить, радуясь тому, чему радовался ещё вчера, тоже уже не мог.

В это утро у меня было назначено свидание с одним крупным деятелем города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства — по всем свидетельствам, человеком во многих отношениях замечательным.

Всё более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу: придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советом, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину.

Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подвести.

Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был не прав, что город нравится всё больше и больше — просто я заостенел в субъективности и т. д. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с ещё длинными тенями, он был тих и скромн, и розоватость ему шла.

«Ереван следует смотреть рано-рано утром...» — так я начну очерк. «Да, именно так я его начну», — бодро сказал себе я, перешагивая порог большого учреждения.

Без трёх минут одиннадцать, довольный своей точностью, я представился секретарше. Она скрылась в кабинете и тут же объявилась: меня просили чуть обождать.

Всё пока не расходилось с эскизом, уже возникшим во мне из рассказов различных людей об этом человеке. Рассказы эти носили всегда и только положительный характер. Никто не сказал о нём дурного слова, несмотря на его высокое положение. Но всегда вместе с высокой похвалой постепенно проявлялась некая полуулыбка, улыбочка, не насмешливая, не скептическая, скорее уж добродушная, но — до конца мне не понятная. «Да-да! — говорили все. — Исключительный! Порядочный! Знающий-понимающий!» Само единодушие в оценке этого руководителя было исключительным и отнюдь не объяснялось боязнью или осторожностью, что было бы сразу заметно. И действительно, порядочный и знающий человек на своём месте — явление, достойное всяческого одобрения... Но... тут возникала полуулыбка. Нет, никто не говорил «но», это я говорю «но», на месте «но» была половина улыбки. У некоторых она была без слов, на ней всё и кончалось. Один сказал: «Он любит подчеркнуть своё сходство с Н., вот увидишь». Это мне мало что говорило, поскольку о внешности Н., замечательного армянского поэта, я имел ещё более отдалённое представление, чем о его стихах. Другой сказал: «О, это актёр!» Замечание, впрочем, было лишено язвительности: так, просто — актёр, и всё...

«Спросите его, сколько лет он не был в отпуску», — посоветовал кто-то, совсем уж загадочно.

И что-то проступало в моём воображении, неотчётливое в чертах, но определённое в характере, и мне уже не терпелось сличить эскиз с оригиналом. Пока всё совпадало: и маленькая, опрятная, демократичная приёмная, наводившая на мысль, что передо мной руководитель не из тех, что в первую очередь заботятся о солидности своего обрамления, а даже из тех, у кого руки до себя не доходят; и секретарша, не красавица и не бывшая красавица, а в самый раз; не высокомерная и не фамильярная, не эффектная и не уродливая, будто и нет её и есть она... Всё пока было так, как костюм от аристократического портного: и сидит превосходно, но не заметишь, как сшито и из чего.

Тут из кабинета вышел некий ходок — старец горец, чуть ли не в бурке, чуть ли не барашек выбежал впереди него — представитель народа, простой человек... Секретарша тотчас сняла трубку и попросила меня войти. Было ровно одиннадцать, секунда в секунду.

Он сидел в дали большого и длинного кабинета и говорил по телефону. Я приостановился, закрывая за собою дверь, мы встретились взглядами и какую-то долю секунды как бы покачивались, устанавливая равновесие, как бы на концах одной доски. Потом он перевесил: точным кивком, не суровым и не нарочно любезным, он попросил меня подойти. Мой конец поднялся, и я легко, как под уклон, направился к его столу. Это было время, пока я пересекал пространство между нами... И это было именно пространство, потому что ничего, кроме его стола и пары кресел, в кабинете не было. Это до меня даже не сразу дошло — самое вопиющее отличие его кабинета... В нём не было ни буквы «Т», ни буквы «П». То есть никакого такого стола для заседаний. Ни графина, ни стакана. И телевизора там не было. Не помню точно, была ли там модель парусника, но картины над головой, кажется, тоже не было. Это был кабинет, из которого всё вынесли. Но — как бы сказать поточнее — это не был и кабинет, в котором никогда ничего не стояло из того, чего сейчас в нём не было. Опять же не уверен, действительно ли более светлый прямоугольник паркета обозначал исчезнувшую палочку от буквы «Т» или только квадрат менее выгоревших обоев обозначал бывшую картину. Во всяком случае, таково было моё впечатление, что сидит он под не висящей над ним картиной и что я обхожу не стоящий перед ним стол для заседаний в виде палочки от буквы «Т».

Я подошёл к его столу (это был обыкновенный канцелярский столик на месте прежнего океанского стола, и на столе ничего не было) ровно в ту секунду, как он закончил разговор и уже клал трубку, вставая со стула и протягивая руку. Нет, он не заканчивал торопливо разговор, так же как и не тянул его до той секунды, когда я подойду, — он просто успел его вполне закончить к этому моменту. И он не протягивал мне руку, продолжая разговаривать, не указывал на кресло, прижимая трубку плечом к уху, и не пожимал плечами, и не разводил руками, и не строил нетерпеливую гримасу невидимому собеседнику, он не швырнул трубку, закончив разговор... Нет, он попрощался с абонентом, положил трубку, повернулся ко мне и протянул руку, не заставив меня ждать ни секунды. Но — как бы сказать поточнее, — он всё-таки именно успел всё это проделать, и удовлетворение от этого при всей сдержанности таки отразилось на его лице какой-то светлой тенью или бликом, и то, что он не посмотрел на часы, чтобы убедиться, что секундная стрелка стала на 60, объяснялось лишь тем, что он умел владеть собой.

Такой это был человек.

Мы ещё раз покачались в равновесии, теперь уже вблизи, на более точных весах, на двух концах рукопожатия. И рука, и её пожатие были безупречны: ладонь была сухая, но не шершавая, пожатие уверенное, но не сильное, — и в чистоте рук не возникало сомнений. Он нажал рукой на чашку моих весов — и я опустился в кресло.

Это был короткий и уместный взгляд при рукопожатии, и пауза его, его некоторая длинность, едва ли даже могла быть ощутима, но была. Мы ещё раз взглянули друг другу в глаза и как бы поняли друг друга. То есть либо мы действительно поняли друг друга, либо каждый из нас по-своему понял другого и постановил оставаться в этом понимании и упрочаться в нём... Во всяком случае, этот взгляд означал, что, включившись в игру под названием «интервью», мы оба берёмся не отступать от правил и не выходить за рамки избранной условности, где каждому очевидно, о чём и как нужно говорить, что отвечать и что спрашивать (именно в этой последовательности, то есть ответ обуславливает вопрос). И если так, просто неэтично было бы производить тайком измерения и на другом, необусловленном уровне. Так же неэтично, как приставать со служебной просьбой в бане.

И если так, то я очень виноват. Но полагаю, что и у него осталось от меня кое-какое «второе» впечатление.

Так вот, он взглянул на меня прозрачными зелёными глазами, очень шедшими к его неправильному матовому лицу, и встряхнул чубом, как бы с лёгкой досадой, что это встряхивание тоже очень ему шло. И тогда лёгким, неуловимым жестом он как бы смахнул с лица паутину. Этот жест... я его уже видел.

С внезапной убеждённой и непреложностью я понял, что этот-то жест и принадлежит поэту Н., о котором теперь уже я имел более отчётливое представление, хотя бы внешнее. Именно так: не о моём градостроителе (он как раз стал внешне менее отчётлив в этот момент), а о поэте... Это меня поразило, что похожесть столь самостоятельное качество, даже при отсутствии в поле зрения предмета сходства. Но это — в сторону.

Это был прекрасный мужчина, очень хорошо сохранившийся и выглядящий, в то же время без вульгарности цветущего здоровья и молоджавости: он был идеалом своего возраста, и только эта идеальность соответствия несколько молодила его. В общем, он был физически интеллигентен. Рубашка была идеальна, как и выбритость его щёк, причём идеальна в том дивном смысле, что одновременно не выглядела только что вынутой из комода, так же как и щёки его скорее наводили на мысль о кофе и хороших сигаретах, чем о помазке.

Он предоставил мне начинать, и, пока я ползал, формулируя тему, мне и самому-то не вполне ясную, он прозрачно смотрел мне в глаза, внимательно слушал и молчал, впрочем, исключительно как вежливый, умеющий слушать и не перебивать человек.

Я же, хотя и обращал по ходу дела свою неумелость в игру неумелости, чтобы внутренне поддержать себя, всё-таки действительно мычал и плавал и чувствовал себя всё более неуютно под его внимательным и умным взглядом.

— Вы знаете, — из меня потекли жидкие слова. — Я совсем не специалист в вопросах строительства, и более того, не журналист в прямом смысле... — «Более того, идиот, — подумал я за него, — в прямом смысле». — Начнём с того, — сказал я, — что я ничего не знаю, кроме того, что Ереван знаменит среди прочих городов своим строительством... Что, — говорил я, — вряд ли возможно за короткое время войти глубоко в курс, а по-дилетантски мне выступать, естественно, не хочется, да и вряд ли читателю интересно иметь дело с цифрами; что все мы, простые люди, видим изнутри наружу — из окон своих квартир и учреждений, и взгляд наш частен и дробен, а как раз интересно бы узнать мнение человека, смотрящего снаружи внутрь, то есть, — пояснил я, — не забывающего о категориях большого и целого, и интересно бы было бы... — Я иссякал, а он слушал. Наконец, как бы взглянув на свои внутренние часы, тем решительным и порывистым движением человека, который не привык терять время, который давно всё понял с полуслова и даже прежде, чем я открыл рот, и лишь из вежливости терпел моё пустое многословие, он вступил в игру.

Безупречность была его единственной слабостью.

— Архитектура как средство воспитания человека, говорите вы? — «Когда я это говорил?» — забуксовало у меня в мозгу. — Да, это так. Человек — безусловно, первый фактор в строительстве. Не что мы строим, а для кого мы строим. Его духовный мир, его завтра — вот что должно прежде всего заботить нас, пока всё находится на бумаге, в чертежах, а не в камне. Не о сегодняшнем дне, не о сроках и процентах — об этом мы привыкли думать, а что будет через пятьдесят лет?! — Голос его зазвенел. — Часто ли мы задаём себе этот вопрос? Мы всё говорим, что строим во имя будущего... Мы привыкли произносить эти слова, совершенно не вникая в то, что они значат. Мы, как правило, совершенно не думаем о будущем, о том, каково будет людям в построенном нами мире... Погрязая в мыслях о производстве, экономии и плане, мы как раз и не думаем о завтрашнем дне...

Поразительно было это «мы»!

Говорил — будто сам строил...

Казалось, он был готов к нашей встрече более, чем я предполагал. Он говорил мне то, что я не надеялся услышать. Он был готов прежде, чем я появился на его горизонте. И поэтому наивно было бы полагать, что я как-то направил беседу. Получалось так, что он говорил мне даже слишком то, что я хотел бы от него услышать. И те полторы мысли, которые возникли во мне в непосредственной связи с моим заданием, которые я уже представлял себе в набранном виде в форме «размышлений писателя», и их он тут же отобрал у меня. Для точного воспроизведения интервью, а раз этот человек настолько полно и осмысленно говорил от себя, то и следовало, по-видимому, ограничиться его точностью, — для такого воспроизведения у меня просто не было журналистских навыков. И я потерялся в лёгкой панике, на секунду перестал слушать, что же он говорит; обнаружив это, растерялся ещё больше и несвойственным и неумелым движением раскрыл записную книжку и записал первую цифру 50, которую мне потом ещё долго пришлось разгадывать, о чём она. Как списывающий ученик, ужас положения которого помножается ещё и тем, что, списывая, он к тому же не знает, то ли он списывает, и уже более стыдится написать какую-либо смехотворную глупость, чем получить честную и прямую, как единица, двойку, — так и я даже прикрыл от него ладонью, что же такое пометил я в своей книжечке.

От него всё это не ускользнуло, но и он не ускользнул.

То ли записанное пером не вырубил топором, но существует у нормального, здорового человека некое остоленение и впадение в гипнотическое состояние от любой формы протоколирования. Оттого, что человек напротив взял перо в руки, на тебя хотя бы в первую секунду да повеет подвальным, дежурным холодком... Если и не так, то сработает рефлекс повышения ответственности — и ты споткнёшься, запутавшись в согласовании и падежах. Человек переходит из состояния говорящего в состояние отвечающего, а из состояния отвечающего в состояние допрашиваемого, как пар в воду, вода в лёд.

Допрашиваемый на секунду уронил глаза, и, поскольку он позволял себе не много безотчётных движений, взгляд этот брякнул, как льдинка, и речь его прервалась. Правда, предложение уже было закончено, и он мог придать всему вид естественной паузы. В общем, он быстро взял себя в руки, даже, можно сказать, подхватил на лету, и продолжал как ни в чём не бывало. Но что-то, по-видимому, бывало. Потому что, не передать даже в чём, но речь его с этого момента как бы несколько перестроилась, настроилась на запись. И хотя я всё решался, какую же его фразу записать следующей, а решившись, окончательно не слышал, что же он говорит, но всё-таки вертел в руках карандаш... Мой собеседник не позволял себе смотреть на карандаш, но взгляд его был уже привязан

ниточкой, и, вертя карандаш, я эту ниточку поддёргивал.

Я всё лучше чувствовал его, но всё хуже — себя и всё меньше мог слушать, что же он говорит. Я входил в его положение, и мне было неловко, какого чёрта морочу я голову этому серьёзному человеку, у которого без меня полно настоящих дел... Действительно, если бы я ещё строчил без передышки, то он бы мог забыть про мой кинжал. А то было совершенно неизвестно, какую из его фраз я подстерегаю...

— Среда — средство воспитания... — говорил он и невольно делал паузу, чтоб я успел записать, а я вдруг не записывал, и он немножко терял нить. Потом усилием воли он прогонял наваждение, — ...сохранить национальные традиции и творить сегодняшним днём! — Всё-таки всякий раз, как он доводил речь до восклицания, перед ним отчётливо возникало видение карандаша, и он ронял взгляд. Речь его была осмысленна и хороша, и тем более можно было обидеться за каждую фразу, почему она не записана, так же как и удивиться, почему записана другая. Дискриминация, которую наводил в его речи мой карандаш, была ничем не оправдана и несправедлива, как любая дискриминация.

И я, как бы отдавшись слушанию, как бы по-честному отложил карандаш в сторону, настолько поглощённый...

И это не замедлило сказаться.

Он дельно рассказал о перспективах роста города, о том, что существует идея локализации этого роста, чтобы город не разбухал в бессмысленных и бесформенных окраинах, а находил внутренние ресурсы в перестройках, перепланировках, ликвидации отсталых и невыгодных в архитектурном отношении районов. Рассказал о трудностях, стоящих на пути этой идеи, о косности мысли иных деятелей, неистребимой приверженности вчерашнему дню, об административной инерции и лени...

Он легко, без одышки взбирался по ступеням слов на самую кручу, мы одновременно оглядывались вниз с лёгким головокружением и тогда быстро и плавно соскальзывали по спирали его речи в некую тишину и сумрак паузы, остановленного в задумчивости смягчённого взгляда, и, отдохнув там под кроной предыдущего периода, начинали взбираться вновь.

Это был уже не тот знакомый мне тип оратора, который получает удовлетворение от ладно скроенной фразы, входящий в речь с мужеством пловца и спелеолога... И вот — выбрался из периода! В конце фразы — слабый свет, как выход из пещеры.

Этот не вползал в пещеру, судорожно нащупывая в аппендиксах «который», «что» и «как» выход из неё, не мочил сандалий в лужице вводных слов — он работал на открытом воздухе...

— ...Масштабы ещё лет пять назад показались бы мифом. Через день вступает в строй пятидесятиквартирный жилой дом!.. Но именно масштабы и не должны смущать наш разум, поглощая в себе и идею и назначение... Мы уже научились обращать внимание на внешний вид здания, даже на его взаимосвязь с ансамблем, но вот внутренние помещения... Задача сейчас — ликвидировать этот разрыв между комнатой и фасадом!

«Разрыв между комнатой и фасадом» — неожиданно я снова раскрыл книжечку и занёс туда эту отважную фразу. Неясное соображение забрезжило во мне, когда я фиксировал слово «разрыв», столь уверенно произнесённое, будто это был узаконенный термин. Я записал эту обычную на первый взгляд фразу, поразившую меня каким-то неуловимым несоответствием между её смыслом и посторонней отчётливостью её формы... Смысла, остановившего меня, я так и не уловил, тем более задерживаться было некогда: мой собеседник тоже приостановился с разбегу на этой фразе, потому что именно её стал фиксировать карандаш после долгого перерыва, а это что-нибудь да значило, и, как человек, оббегающий внезапно возникшее препятствие, он метнулся в сторону, сделав вид, что туда-то он и направляется. Мой карандаш оплодотворил эту

фразу, она превратилась в завязь, и вот уже созрел, набухая, плод. Моё внезапное недоумение над этой фразой было тут же удовлетворено целой речью, возросшей на ней, и эта речь мне многое объяснила...

— Мы требуем от человека, чтобы он с каждым днём работал лучше и лучше, — говорил он со всё большим подъёмом, как бы плотнее и устойчивей устраиваясь на окончательно выбранной площадке, — и нас не интересует, как чувствует он себя, идя на работу и уходя с неё... Мы постоянно твердим ему о его обязанности и долге перед родным городом... И никто ещё не поставил вопрос так: а город должен человеку?! — Он несильно, но выразительно выкинул руку, как бы поместив эту фразу чуть повыше того уровня, на котором она прозвучала: там, чуть в стороне от источника звука, она никелированно блеснула, как большая скрепка. — Человек идёт на работу... Какое настроение возникает в нём от одинаковых, убогих и некрасивых улиц? Или, наоборот, настроение его подымается от окружающей красоты, и он приступит к работе с духовным подъёмом и приливом сил? Разве не стоит подумать о маршруте человека по городу? Чтобы его проход был как бы оркестрован и город в движении был бы точен и продуман, как музыка?.. Мелодия улицы... — На секунду он смолк, как бы прислушиваясь. — Этот эксперимент...

Рука дёрнулась и, несмотря на моё недовольство, вывела это слово — «эксперимент». На лице моего собеседника появилось чистое выражение страсти, струны его лица натянулись и зазвенели, не исказив в то же время приятной и спокойной его матовости.

Тут зазвонил телефон.

Во всяком случае, где-то рядом со словом «эксперимент» в моей книжечке отчёркнут квадратик, и в нём написано: «тел. разг.». Слушал он, не перебивая абонента и несколько хмурясь. Потом неким взрывом изнутри лицо его разгладилось и снова стало решительным и ясным...

— Я сразу сказал, что это непрофессиональный эскиз. Потом узнал (лицо его остыло от твёрдой улыбки), и действительно, он даже не практик — просто дилетант. (Ему что-то сказали на том конце.) Да, мне сам метод не нравится, — ответил он, всё ещё сохраняя твёрдую улыбку. — Нет, нет. Тут требуется творческий анализ. Главное — не спешить...

Я был совершенно очарован словами «непрофессиональный эскиз», «метод» и «анализ», исходящими из его уст. Дело ведь ещё и в том, что это были отнюдь не специально употреблённые слова — они были сказаны в естественном и непредусмотренном разговоре. А следить за содержанием разговора и поддерживать его так, чтобы ещё и произносить что-либо специально для третьего, случайно слушающего — такая тройная, три раза переплетённая в самой себе задача не под силу, подумал я, никому, тем более такому милому человеку...

Повесив трубку, он опять — чудо-человек! — не произвёл ничего лишнего: ни бессмысленных извинений, что прервалась беседа, ни пояснений, в чём там, на проводе, было дело, ни «на чём остановились?» — ничего подобного. Он взглянул на меня коротко и ясно, будто бы не прервал свою речь на полуслове, и взгляд этот выражал, что всё, что в целом он высказался по данному вопросу, в подробности же входить нет возможности, а дальше спрашивайте, что вас ещё интересует, работайте, ведь зачем-то вас сюда прислали... И время идёт, дорогой товарищ.

Мне уже многое стало ясно: сфера восхищения и сфера сомнения проявлялись во мне, всё более отдельные друг от друга, и как бы раздвигались... Восхищение, как эмоция, занимало настоящее время, сомнение, как нечто рассудочное и даже нехорошее, требовало раздумий и существовало более в будущем. Те несколько фраз и словечек, о которые я споткнулся, никак не удалось осмыслить, и меня скорее раздражала просто заминка, разрушение этой гармонии и подозрение в собственной подозрительности. Мне

было мучительно неловко моей досужести и праздности перед этим человеком дела. Во всяком случае, я решительно не знал, о чём мне с ним ещё говорить, и был озабочен тем, чтобы задать хоть сколько-нибудь неглупый вопрос и остаться более или менее на заданном собеседником уровне. Я несколько замаялся и растерялся, вдруг меня озарило одно туманное соображение, и я радостно пустился излагать его.

— Вам я могу сказать откровенно, — покраснев, сказал я, — сначала Ереван мне не очень понравился, и я, конечно, никому не мог признаться в этом. Лишь немного узнав страну, в которой он находится, я стал свыкаться с ним. Парадокс Еревана, — сказав слово «парадокс», я сделал реверанс словам «оркестрован» и «эксперимент», — заключается в том: вот вы отмечаете 2750 лет со дня его основания, а никакого исторического лица город не имеет... Индивидуальность города складывается веками, городá, возникающие в наше время, и не могут иметь лица, а лишь более или менее соответствовать деловым и эстетическим требованиям... — Мой собеседник закивал, и, поощрённый, я тут же потерял нить. — Боюсь, что моя мысль может показаться досужей кому-либо, но, исходя из всей предыдущей нашей беседы, думаю, что вы поймёте меня правильно... — Это был запрещённый прием, и, выходит, я совсем зажмурился, раз выговаривал такое, но пока только сам себе я казался лихим, моего собеседника этот мой заход лишь насторожил: лыком он шит, разумеется, не был. — Именно потому, — говорил я, — что все постройки Еревана прежнего времени непримечательны в архитектурном отношении, и мог возникнуть план генеральной реконструкции и перестройки города, включая и центральные районы. Вы хотите видеть свой город прекрасным, придать ему индивидуальный, неповторимый облик... — Лицо моего слушателя смягчилось, он всё более готов был согласиться со мной. И хотя банк держал я, а он лишь брал предложенную карту, причём видел, что я передёргиваю, давая ему к десятке туза, — он карту брал. — Но, — говорил я, — как бы ни был профессионален и даже гениален план, какими бы прекрасными идеями ни руководствовались его создатели, вы это новое и неповторимое лицо города хотите создать в определённый срок, вы не можете ввести в свой план тысячелетнюю историю, вы сотворите город неизбежно в наше время, и эта пока нами неуловимая печать будет замечена уже последующими поколениями. То есть древний город Ереван будет новым городом, построенным единовременно, и эта однотонность времени, не кажется ли вам, может не вполне устроить те последующие поколения, о которых в Ереване в отличие от многих других городов не забывают?.. Я что-то не припомню городов, которые сумели бы приобрести индивидуальные и живые архитектурные черты в течение нескольких лет. Как правило, индивидуальность города складывалась скорее в результате работы времени, нежели строителей. Как вы думаете решить эту проблему без помощи времени, ведь времени у вас нет, а планы ваши столь принципиальны? Из известных мне примеров только Петру удалось придать лицо городу по плану и за короткое время...

При имени Петра глаза его коротко и глубоко блеснули, этот взгляд был тут же скрыт вовремя пришедшимся усталым его жестом, как театральным занавесом, но либо я обрёл уже опыт в общении с ним, либо настолько уверовал в свое «вúдение», что только «своё» и видел, независимо от того, было ли это «своё» на самом деле или его на самом деле не было, — но блеск этот не ускользнул от меня.

— Да, — сказал он, и лицо его побледнело и загорелось, но не в вульгарном смысле этого слова, а как лампа дневного света, что ли. — Да, вы совершенно правы... Вы справедливо вспомнили Петра... Он сумел придать городу с самого начала неповторимый облик. Мы у себя в строительстве решили много проблем, но до сих пор не решили характера города. Ленинград, Таллинн — вот города, при одном имени которых сразу возникает образ. Мы хотим добиться того же у себя в Ереване. — Похоже, он пропустил

моё соображение о времени и строительстве, зато почему-то, где я не ждал, задержал своё внимание на Петре... Я схватился за карандаш, и то ли речь его вдохновенно рвалась, то ли я записывал лихорадочно и неосмысленно, но дальше у меня следуют очень бессвязные заметки, и я уже давно ломаю над ними голову... — Чтобы город имел и воспитательное значение... Плакаты, щиты — всё это так формально, безвкусно и, как правило, унижает саму идею... Иногда просто кричать хочется: «Зачем вы коптите духовный мир человека?!» (у меня записано «дух. мир», и я всё расшифровывал это не как «духовный мир», а как «дух мирного человека» и долго недопонимал фразу). Это, конечно, эксперимент, то, что мы задумали... Кольцевой бульвар, решённый в различных национальных архитектурных стилях, будет символизировать дружбу народов. Или улица N, решённая так же экспериментально... Вы там не были? Вот вы пройдите и обратите внимание хотя бы на то, что там совсем нет мемориальных досок. Так формально, так приелось — все эти доски... А там вдруг стоит работа одного нашего талантливого молодого скульптора, нет, не бюст, а символ, решённый в приподнятом, высоком ключе... Не как справка из домохозяйства, приклеенная на стенку, как на доску объявлений, — «здесь жил такой-то» или «здесь жили люди...» Нет! «Здесь что-то божественное!..» — должно прийти в голову прохожему... Такие памятники внушат уважение, будут невольно влиять на мысль прохожего и незаметно служить ему высоким примером того, чего может достичь человек... Скажем, идёт отец с сыном, взял его из детсада после работы — и вдруг эта скульптура... Отец, усталый и озабоченный, не смотрит по сторонам, сынишка же обращает внимание: что-то непонятное... «Что это, папа?» — спрашивает он. И папа вынужден объяснить, а если не знает, сам должен подойти и прочесть: здесь жил и творил такой-то... «А что он сделал? Почему ему такая тут стоит штука?» И вот уже отец с сыном ведут беседу...

Далее я что-то совсем пропустил, восхищённый: мелькали цифры, масштабы, небоскрёбы... Миллион квадратных метров разрушить — полмиллиона построить... Или наоборот. Вдруг я понял, что он молчит.

Я как бы дописал последнюю фразу и поднял глаза.

Не знаю, взглянул ли он на часы, я не видел... Но, секунду поколебавшись, он решился ещё на что-то, выбежал в соседнюю комнату и вынес оттуда трубу...

И вот мы склонились над развёрнутыми чертежами, слегка касаясь друг друга плечами, — там была иллюстрация к роману Ефремова, но это был бассейн-аквариум с рестораном под водой и птичником над водой, рыбки заплывали к нам прямо в рюмки, и поверить в это было бы трудно, если бы бассариум не был намечен к вводу в будущем году...

Тут я могу точно поручиться, что он не взглянул на часы. Но, замерев на секунду, как бы прислушавшись к тиканью, он так же стремительно исчез в соседней комнате. Из своего- кресла я не мог её разглядеть, но она показалась мне маленькой и значительно более наполненной, чем та, в которой мы находились. Я даже подумал, что там-то всё и свалено, что когда-то было в нашей комнате... Наконец он выскочил, прижимая к животу несколько цилиндрических шашек. Никаких ассоциаций, кроме внезапного взрыва и соображений о том, не запачкал ли он рубаху, они во мне не вызвали.

— Вот, — он уронил их на стол, — цветной асфальт! Экспериментальные образцы. — Действительно, шашки различались по цвету. — Какой скучный, утомительный цвет у нас под ногами! А теперь... Не говоря об уменьшении аварийности... Шофёр теперь не уснёт за рулём!

Тут в нём истекло время. И как раз так, что он всё успел. Мы глубоко сердечно и без тени фамильярности пожали друг другу руки.

Прикрыв за собою дверь, я взглянул на часы. Было ровно двенадцать.

Дыхание на камне

В приподнятом настроении, с чувством легко выполненного долга выскочил я из тенистого сквера на свет. За этот час ласковое тепло стало жарой, и раскалённый воздух сгустился и застыл посреди улицы.

Я смотрел на улицы новыми глазами. Это мне следовало уже делать, чтобы подтвердить зрительными впечатлениями материал, тезисы которого мне были только что изложены. Но, по-видимому, стало слишком жарко: так, чтобы очень по-новому, я не видел.

Тогда я решил припомнить, какие же положения необходимо мне подтвердить зрительными впечатлениями, и с ужасом осознал, что, кроме нескольких телодвижений интервьюируемого, ничего не помню. Схватился за книжицу — там было записано до обидного мало и непонятно.

Наткнувшись в записках на название экспериментальной улицы, я решил отыскать её. К счастью, она была неподалёку. Ту свежесть и бодрость, которую одним своим видом внушал мой недавний собеседник, как рукой сняло. «Был ли он? Не придумал ли я всё это?» — уже думал я, расплавляясь от жары.

Я шёл по улице, прислушиваясь к себе, в ожидании того момента, когда во мне возникнут те высокие мысли и тот светлый строй, то хотя бы бодрое настроение, которое, по замыслу, весь этот комплекс неизбежно должен был во мне вызывать.

Всё здесь было выстроено разнообразно, своеобразно и со вкусом, ничто напрасно не торчало — всё было учтено по отношению к соседствующим строениям... Горизонталь сочеталась с вертикалью, а открытое пространство с замкнутым. Ничто не препятствовало взгляду, ему было спокойно, и он ни на чём не задерживался. С удивлением я обнаружил, что уже давно иду по этой улице и она вот-вот кончится, что было обозначено неким безобразным строением, некстати торчавшим на углу. Именно его я давно уже видел. Я прошёл эту улицу, напрасно прислушиваясь к себе: никакой мысли, хоть какой-нибудь, во мне не возникло. То ли жарко, то ли вообще нельзя «нарочно» ждать мысль... Вот кафе, насквозь всё прозрачное, и такой же универмаг, и даже если бы в кафе действовала кофеварочная машина, а универмаг был завален джинсами и к тому же и универмаг и кафе не были бы закрыты на обед, всё равно всё осталось бы таким же, готовым, пустым и ждущим. Цветочный магазин в форме вазы, к которому необходимо игриво пропрыгать по там и сям расположенным плиткам... Этой штуковины о великом человеке, жившем на этой улице, этого мемориала, который так и бросается в глаза, я так и не увидел, как ни смотрел. Приятные расцветки, приятные сочетания плоскостей... Вдруг на какой-то из плоскостей пузырьки золотые восходят вверх, как из стакана или будто внизу дышит большой карп... «Вот такая же и мысль, — подумал я, — возникла во мне, как эти пузырьки. И единственная...»

Что же это? Зачем же это строители за меня думают, что я думать должен и как? Они что — **для** меня думают или **за** меня думают? Вот в чём вопрос. Обо мне или мною? Чтобы **мне** было удобно и хорошо или **им** в их представлении обо мне? Ведь без очень многих услуг я могу и обойтись, такой уж суровой надобности, чтобы за меня думали, любили, ели и спали, у меня пока не возникло. С этим я по мере сил пока и сам справлюсь. Мне необходимо место для того, чтобы за меня ничего этого не надо было делать — ни думать, ни любить... Место, где бы я это делал сам.

Такая обидная мысль вдруг пришла мне в голову, и я чуть не с радостью смотрел на ещё не снесённое безобразие, эпохально торчавшее в конце улицы.

У меня была назначена встреча с одной издательницей, не деловая — просто ещё что-то я не успел осмотреть: парк, фонтан и картинную галерею... Без этого я не имел права уезжать, и мы встретились. И то ли я был действительно раздосадован, то ли, в

течение десяти дней встречаясь исключительно с друзьями друга, соскучился по женскому обществу и теперь пользовался редким в Ереване случаем быть спутником интересной женщины, не доводящейся никому родственницей, — но с излишней страстностью начал я излагать ей свои архитектурные переживания и расцветал с каждой фразой, такой горячий и искренний человек...

— Понимаете, он совершенно не услышал моего вопроса... Только про Петра и услышал. А ведь и про Петра я в другом смысле говорил, возможно, и не в самом лестном... Понимаете, я перед отъездом, к стыду своему, в первый раз — ведь я коренной: и дед, и отец, и прадед были петербуржцы — посетил домик Петра. Я случайно на него набрёл — надо же, тридцать лет не подозревал о его существовании: думал, что домик Петра и Летний дворец — одно и то же!.. Ну да не в этом дело. Это самая ранняя из сохранившихся построек Петербурга. Я был поражён и потрясён. Именно не музейностью, а живостью и цельностью ощущения, что здесь жил человек и именно этот человек, Пётр... Домик-то ведь не дворец, нищенский, по сути, домик. «Приют убогого чухонца...» И архитектурной ценности, кроме редкости, на наш день никакой, а вот... Каждый предмет — а там скромно, очень скромно! — говорит не о самом себе, а о хозяине. Вы понимаете, что я имею в виду? Впрочем, я ничего не ожидал от этого домика — это очень важно!.. И от Гехарда я тоже ничего не ждал. Я получил от них всё сразу, всё, что в них было... А тут я хожу по Еревану и всё чего-то жду... Так вот о домике... Выхожу я из него потрясённый на Неву и потрясаюсь вновь... То есть, выйдя из этой крошечной и тёмной петровской будки, я вижу Неву, и Петропавловскую крепость, и Летний сад, и вся эта чрезмерная красота вдруг поражает с новой, непривычной силой. Я пытаюсь понять, в чём дело, что дало мне силы и заставило меня увидеть эту тыщу раз виденную и невидимую уже красоту, — и вдруг опять же понимаю: Пётр! То есть я как-то изнутри прикоснулся к его идее, и для меня всё осветилось новым светом. Не только в словах и мыслях: идея существует физически! — вот что со всей очевидностью вдруг дошло до меня. Не так уж много успел построить Пётр при жизни, вряд ли даже столько, чтобы это составило лицо города... Гораздо больше он построил после смерти. А ведь исторически петровские идеи довольно быстро сошли в его преемниках на нет. И только идея Петербурга, его образ были настолько сильны, что долго чужая мысль невольно попадала в русло, намеченное Петром, и просто другой мысли не возникало.

И строители продолжали дело Петра, и никто даже не подозревал, что в лесах совершенно других, даже противоположных идей постоянно возводится здание полузабытой идеи. И когда мощь инерции петровской идеи окончательно иссякла, то уже стоял Петербург и своей формой, цельностью и единственностью диктовал законы продолжения. В России не много идей воплотилось в такой последовательности и конкретности, как Петербург, как Советская власть. Общность, конечно, чисто внешняя, потому что истоки этих идей противоположны, но общность есть. Даже, возможно, только Петербург и мог стать её колыбелью. (В этом городе, в этой окаменевшей идее неизбежно и направленно, как его проспекты, только и могла воплотиться идея прямо понятых порядка и гармонии). И вот Петербург, самый нерусский город, торжество петровской идеи, стоит до сих пор и в нашем, в наиновейшем времени, стоит с прежним застывшим лицом, и новые районы отслаиваются от него, как нефть от воды. И это чудо, чудо не в чудесном, а в феноменальном смысле, ибо ещё можно представить, как возникла идея в сильной голове Петра, но то, что она осуществлена, вызывает почти головокружение своей невозможностью... Как кентавр или грифон — и вот, на тебе, скачет и летает! И будет стоять, потому что Петербург нельзя изменить постепенно, его можно только разрушить, разрушить вместе с идеей, его создавшей, и они исчезнут лишь вдвоём, город и идея. Другие прекрасные города России росли постепенно и непродуманно, строились

веками самой жизнью, и их вдруг получившаяся неповторимая и неуловимая гармония и прелесть беззащитны перед любой конструктивной идеей. Так исчезает Москва. Как одна вырубленная сосна не означает гибели леса, и другая, и третья... И вдруг лес вырублен. Арбатская просека... И тот человек, который ещё помнит, как в детстве он нашёл тут белый гриб, скоро помрёт... К чему это я? В последнее время слово «строительство» звучит всё более приподнято и гордо. Между тем это профессия, дело. Строителем не должна овладевать гордыня. Он строит что-то и для кого-то. Пока строитель возводит жилище и храм, храм и жилище — он строит для себя и он вне времени. Но как только он начинает строить для другого: дворец — царю, особняк — вельможе, барак — рабу, — он принадлежит уже только своему времени. И как бы он ни был гениален, он будет обведён чертой времени и ничего не построит во временах. Во временах строит уже только само время. И именно время, сохраняя одно, схищая другое и возводя третье, придаёт городу то неповторимое и прекрасное лицо, уподобляя дело суетных и временных рук человеческих природе и самой жизни, — и город становится подобен роще, в нём так же естественны дни и ночи и времена года... А если мы строим город в течение нескольких лет (а строить так нам приходится и придётся), то надо хотя бы отдавать себе отчёт, что нам не по возможностям работа веков, и не обольщаться в этом смысле... Ибо, исходя даже из самой прекрасной идеи, но одной, не навязем ли мы её последующим поколениям, уже нежеланную и неустраивающую? Не для будущего надо строить, а для настоящего, с глубокой любовью к нему. А помещать без спросу безответного будущего человека в наши схемы по крайней мере самонадеянно. И ему гораздо будет дороже увидеть то, как мы жили, чем разглядывать в остывшем виде наши наивные представления о том, как будет жить он когда-нибудь и без нас... Получающееся по отношению к жизни всегда больше получившегося по отношению к идее. Даже в самом удивительном и прекрасном случае (вернёмся к Петру) насильное существование в чужой идее, даже гармонично и прекрасно выраженной, разве не болезненно? Петербургская тоска — мало ли существует литературных примеров, да и личного опыта достаточно... Петербург, прекрасный, как музыка. Петербург-симфония... Не так ли негодовал Толстой, слушая Крейцерову сонату, на её создателя, давно почившего и истлевшего и тем не менее каждый раз помещающего чужого и удалённого во времени от него человека в мир своих страстей и чувств, не пояснённых никаким конкретным опытом слушателя? Не так ли задохнётся иной раз нынешний ленинградец, ступив на какой-нибудь кривой мостик и посмотрев на грязную воду канала, и не поймёт, что с ним творится? Кстати, и «Медный всадник» Пушкина — не такой уж это гимн Петру и Петербургу, как нас приучили в школе. Иначе зачем такая резкая граница между вступлением и историей бедного Евгения? Эта граница, этот контраст и есть идея поэмы. И трудно сказать, что значительнее: восхищение ли гения красотой и мощью града или сочувствие мечущемуся по этой красе Евгению?..

Тут я почувствовал, что меня взяли за руку. Сердце моё забило. Я взглянул на спутницу и поймал тот очень женский взгляд, который равно можно было расценить как сомнение и интерес, сочувствие и насмешку...

— Пойдём, — сказала она.

Я наконец попал на старую ереванскую улицу. Старая не то слово: ни тысячелетиями, ни столетиями тут не пахло. Возможно, ей было лет сто. Двух- и трёхэтажные дома стояли вплотную, с оплывшими, кругловатыми линиями оконных проёмов, и смотрели подслеповато, как близорукий без очков. Их попытки быть прямыми и неглиняными выглядели наивно. Наверно, это была прежде и не из бедных улиц, — так, может быть, выглядели улицы губернских городов, вливавшиеся в главную. Архитектуры никакой на улице не наблюдалось. Дома напоминали старинные холодильники, когда ещё

электричества не было, а в оцинкованные ящики закладывался привезённый разносчиком лёд... Глубоко посаженные и небольшие окна подсказывали тень в комнатах и послеобеденный сон. Стены выглядели пухлыми. Они казались нарисованными рукой ребёнка. Иногда строчка окон сползала вниз, как у ленивого ученика... Прохожих не было.

— Смотри!

Чуть согнувшись, я заглянул под арку. Нагибаться, впрочем, не было нужды: человек нормального роста вполне мог бы пройти сюда, выпрямившись. Но не так казалось. Ещё и потому, что тут была логика заглядывания и подглядывания... Как в щёлку, как в скважину, как в тот оптический глазок, придуманный в дверях кооперативных квартир, где ты видишь гостя в немыслимой перспективе, а он, по-видимому, — твой ужасный глаз.

Тенистый и глубокий туннельчик с округлым сводом был как тубус и диафрагма, а дальше с неправдоподобной, оптической чёткостью был виден двор. Так не бывает прозрачен воздух, как он был прозрачен в этом дворе. Двор контрастно с входом был ярко освещён, но, казалось, не тем назойливым и тупым солнцем, что пекло на улице наши спины. Свет был ровным и успокоенным. Вправо шла лесенка, четыре выщербленные крутые и узкие ступени, нелепые перильца с завитушкой на конце... Дальше трое ребят играли в забытую мною игру — крашенные бабки валялись на земле... Ещё подальше какая-то верандочка с пристроечкой, виноград свисает с решётки, кто-то спит на топчане... Дерево высунулось из-за угла справа, нависает... В небольшой тени печечка дымит, шуршат угли... Чёрная бабка в конце двора не то что-то собирает с земли, не то, наоборот, рассыпает...

Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее. С таким чувством человек возвращается на родину: одно дерево сломалось, а тот куст как разросся! Все умерли... Неужели это Маша такая большая, ведь я её на руках носил! А эту бочку я помню — неужели до сих пор целая... Припадаешь к земле. Ты всё ещё жив, старый хрен!..

Мы шли и заглядывали в эти глубокие воротца... Я забыл о спутнице, хотя то, что она была рядом и знала, что показывала, и я был всё-таки не один со своим немым восторгом, тоже незаметно что-то означало.

Ни один двор не повторял другого, но ни один и не отличался, казалось. Ни один не был красивее или интереснее другого — каждый был совершенен. Как, каким образом складывался этот хаос пристроек, тупичков, деревьев, света и тени в гармонию и художественное единство — ни проследить, ни предположить было невозможно. Видно, жизнь, организуясь сама, по своим неумышленным законам, не может создать несовершенной формы...

Такую глубину и прозрачность можно было вспомнить только у старых голландцев. Беременная женщина читает у окна письмо... Какой свет! О, они понимали, что такое рама, что такое окно! Насколько серьезнее и самостоятельнее мир, в который ты выглядываешь, мир обрамлённый, чем мир на улице, на дороге, в поле... В раме — это уже понятие, мысль о мире.

Так выглядел каждый двор в раме чёрного проёма ворот.

Вот уж — «здесь жили люди»! И никакой абстрактной штуковины не надо. Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели... Кто-то штукатурил стену, кто-то выносил треногий лишний в доме стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник... Двор рос, как дерево — отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, — а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, а где обломано, но — дерево! В кроне чирикают дети, подпирают ствол влюблённые, и бабка

чёрная, согнувшись, возится у корней — растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое древо...

И смысл жизни до тебя и после тебя наконец ясен.

От каждого проёма не оторваться, но и подглядывать нельзя. Но и следующий — пока идёшь к нему, нельзя поверить даже, что может быть так же хорошо... но и следующий, когда заглянешь, — как вздох, вздох облегчения, вздох встречи, вздох нерасставания и какая-то непонятная сладкая вера в возможность и твоего счастья...

Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания, в них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через сто лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке?.. Или всё отразится от матовых и блестящих, ровных и плоских плоскостей?..

Мы ценим человеческий труд, и мы его ещё мало ценим. Но ценим ли мы то, что ещё драгоценней: то, что есть, что получилось без нас, без нашего участия, — великую гармонию и искусство природы и времени? Доски, конечно, дороже несрубленной сосны. Но — в денежном, выражении! Не надо смешивать стоимость с ценностью, дороговизну с драгоценностью... Самое гениальное творение рук человеческих однозначно и часто в сравнении с природой. Это правильно и чисто взятый аккорд, подслушанный и занятый у абсолютной гармонии и полифонии жизни. Гармонию не измерить стоимостью. Автомобиль никак не дороже полянки, на которой мы сделали привал. И никакими усилиями не сотворим мы раннее утро, не подделаем восход, росу, былинку... Ни один художник не может одной лишь силой воображения так естественно разбросать избы, сараи по отношению к реке, дороге, лесу и небу, как разбросаны они в любой деревеньке; не сумеет поставить где надо одинокую корову или лошадь, стог или ветряк, надеть в правильной последовательности банки и крынки на колья покосившегося плетня. Даже покосить как надо плетень он не может! Он может лишь подглядеть.

Великий учебник гармонии отдан нам жизнью бесплатно, безвозмездно. И мы должны помнить, что если мы вырвем все листы, нам не по чему будет учиться.

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала?

Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

На этой глиняной улочке, нагнув шею, заглянув во дворик, я увидел наконец такой Ереван. Поэт не мог быть неточен...

Что остаётся в предметах от человека? Только ли форма, им приданная, или — тепло рук, прикосновение взглядов, вмятины от слов?.. Тут всё говорило языком жизни — бывшей и будущей, — вечной жизни... Я решался — я входил во дворик, и из всех дверей выбегал любящий меня народ — прадеды и прабабки, правнуки и правнучки... Будущие и прошлые люди обнимали меня и выстраивались безмолвной шеренгой, ласково сокрушаясь, и кивая, и жалея меня, пока я шёл мимо них и плакал от скорби и счастья...

У СТАРЦА

Визит

Это самый знаменитый человек Армении. Хотя «знаменитый» и не то слово. Кто-нибудь, быть может, и более знаменит сейчас. Но он — пока, а этот — уже всегда. Великий сын Армении.

Это-то меня и отпугивало. В мои планы, в общем, не входил визит к нему. Так, если само получится. Опыт общения с великими людьми у меня пока отрицательный. То есть не то чтобы я в них разочаровывался и обнаруживал, что они не такие уж и великие. Маленькие слабости великого человека, наоборот, всегда утоляли мой скептицизм и шли великим на пользу в моём мнении. Дело тут, к сожалению, во мне самом. Я переставал быть собою в их присутствии, глупел, а это неприятно.

Так и вышло, что визит этот откладывался непроизвольно, отодвигался, и вдруг в последний мой день меня повели.

Мы ступили на тихую улочку, там чуть ли не знак висел — «кирпич». Даже прохожих не было. Мне померещилось, что я на ней уже бывал, проходил, но мне никто тогда не говорил, что здесь-то он и живёт. Мне это поначалу показалось странным.

Ничего странного, впрочем, нет. Любопытен самый характер его славы. Во-первых, о том, что он здесь живёт, как-то и говорить нелепо: всякий знает. Во-вторых, о нём вообще мало разговоров. Разговоры идут по более мелким, частным, сиюминутным поводам. А тут что говорить. Факт. Живёт. Всегда жил. Тридцать, пятьдесят, семьдесят лет... Отошли сплетни, пересуды, сенсации — девяносто лет. Что тут говорить? Он — есть. Был всегда. Без него немыслимо.

Мы свернули на эту тихую улочку... И как я ни был предубеждён к великим людям, калитку уже отворял с трепетом, и её тихий скрип звучал пронзительно, а дворик освещался как бы более ярким солнцем. Где-то внутри жила некая ясная, прозрачная дрожь, и я готов был впитывать, как промокашка.

Впитывать же пока было нечего. С особой осторожностью перешагивал я змеиные кольца садового шланга, свернувшегося во дворике. Слева стоял маленький миленький домик, справа возвышалось большое свеженькое здание-модерн: стекло и тот же розовый туф.

Я услышал восклицания и оторвал взгляд от садового шланга, который заставил меня задуматься, деталь ли он, а если деталь, то художественная ли? Явный признак того отупения, что овладевает мною в присутствии великих людей, хотя великого старца ещё и не было.

Я поднял глаза и увидел пожилого человека в золотых очках, наследственно интеллигентной наружности. По лицу его волной пробежала тщательно подавленная скука.

Он радостно приветствовал моего провожатого, человека заметного в культурных кругах Армении. «Не может быть», — заторможенно подумал я, но тут же понял, что, конечно, это не мог быть сам. Я улыбнулся широко и тупо, пожал руку, представленный. «Папа! — закричал он через плечо. — Папа!.. ОН в саду, — скромно сказал наш новый знакомый, — пройдёмте пока в мастерскую...»

И мы прошли в розовый дом тем тихим, интеллигентным гуськом, где каждый уступает другому дорогу и, таким образом, то один, то другой оказывается впереди, понимает, что забежал вперёд, отстаёт и т. д. При этом ещё что-то всё время говорится. Первым, привзмахивая руками и как бы даже дирижируя, следовал наш новый знакомый, пояснял на ходу, умудряясь в то же время не поворачиваться к нам спиной (разве на какую-нибудь секунду, её неуловимую долю, чтобы рассмотреть путь перед собою). В

эту-то секунду мой первый провожатый пояснял мне его пояснения шёпотом. И я, уничтоженный своими усилиями быть интеллигентным и в то же время сохранять собственное достоинство, хотя где оно, уже было окончательно непонятно, продвигался, внимая обоим, между ними, одновременно умудряясь не поворачиваться спиной ни к тому, ни к другому, что было очень трудно.

Так мы миновали обширную прихожую, заставленную нежилой мебелью, и ещё одну комнату, очень тёмную, зашторенную, где две женщины, старая и молодая красавицы, лепили на большом столе пельмени. На нас протяжно и непонятно взглянули из этой тишины и сумрака... а мы уже шествовали по новой лестнице. И наконец вошли в фешенебельную мастерскую.

Она только что была отстроена. Холсты, составленные, толпились в центре мастерской, оставляя вдоль стен узкую дорожку. Сверху падал плоский свет. «Папа, папа!» — выйдя на балкон, закричал сын вниз, в сад. Куда-то папа пропал...

Тут он начал показывать нам папины холсты, извиняясь, что не может нам показать их как следует: они только что сюда переехали... Он выдёргивал холсты по одному, как из грядки, и сначала осматривал сам, а я тем временем успевал прочесть на тыльной холстине дату и название. Названия, впрочем, были не всегда. Возможно всю жизнь писать горы, фрукты и лица, но невозможно же их каждый раз называть. Осмотрев картину и как бы с удивлением узнав её, как бы посомневавшись, стоит ли она того, он показывал её нам. Каждый раз он сомневался — и каждый раз показывал... И лишь одну не показал — так и приставил к стенке, наружу подписью «Весна» и верёвочкой (за что вешать).

Как всегда, я не знал, нравится мне всё это или нет. Картина всплывала, разрезала пустой объём мастерской, и я ловил в себе отблески восхищения бесконечной любовью художника к родине, восхищения, отчасти мною придуманного, и искреннего удивления перед его трудом: столько фруктов, столько гор, столько лиц! Неужто ни разу за долгую жизнь, столько раз повторив их, не усомнился он в самом факте их существования... И ни разу не захотелось ему, чтобы эта груша перестала быть грушей, стала бы идеей груши, какой-нибудь грушей через два «у» или два «ш», треугольником, шаром... Мне бы захотелось. Но такое поразительное здоровье, при котором все реалии этого мира вечны и вечно достойны воспроизведения в этом длинном-длинном времени каждого дня нашей мгновенной жизни; такое природное сознание, как личный дар этого человека, что на его недолгий срок ему вполне хватит счастья от видения этих горообразных и фруктовых лиц (от множественности, от длины ряда внезапно начинала проступать их общая природа, ещё и совпадающая с природой творца), — такое сознание тоже иначе как здоровьем не назовёшь... а здоровье в последнее время преимущественно кажется мне прекрасным.

«Папа, папа!» — ещё раз, приустав показывать, позвал сын с балкона.

Папы всё не было.

Он не любил этот новый дом и предпочитал свой старый флигелёк — вполне понятно. Новый дом был прижизненный музей и персональная галерея. Причины постройки музея ещё при жизни старика тоже были вполне понятны: посетителей, вроде меня, тысячи, и это, конечно, тяжело — он был уже очень стар. Велик. Дни его исполнялись как бы всё большей ценою и ценностью и требовали хозяйственного к себе отношения — всё понятно. Даже трогательно. Но вот что: были ли его дни так же ценны, когда он был молод и влюблён, когда он был гениален? Дни его молодости ничего не стоили, а он жил, чего у него никто отнять не мог. Теперь, признавая и поклоняясь, от него отнимали — а что у старика оставалось? — его дни: они ему не принадлежали, они были национализированы. Старик был одинок для жизни: изолирован заботой и освобождён от

выбора. Когда-то ему принадлежало время и не хватало славы, теперь ему принадлежала слава и не хватало времени...

Любовь старику возвращается как младенчество — солнышко, тишина.

Он частенько пропадал, как-то славно сбежал из дому, с живым, тёплым торжеством. «Папа, папа!» — но его уже не было, и тщательно скрытое недовольство домашних его побегами было, по-видимому, тем пробуждением живой жизни, которая была ещё необходима старику как правда и на которую он ещё был способен, как был способен нарисовать ещё несколько килограммов груш.

Это сбегание, не такое великое, как у нашего великого старца, не такое значительное, но такое родственное, едва ли не милее моему сердцу. У нашего было слишком много драмы, роли и значения, а в этом сбегании много больше живой потребности, как есть, пить и спать — жить. И почему наш старец не сбежал много раньше? Ведь давненько его гению было всё на этот счёт ясно...

...Он успевал забрести далеко, он сидел на солнышке со стариками и беседовал с ними, ими не uznанный, наконец равный, свободный, неодинокый... Находили старика, водворяли великого на место, в уют и уход, реликвию и национальную гордость, и жемчужина покоилась в малиновом бархате подушечки, пока не пропадала опять. Но её всегда находили.

Тут не над кем смеяться — ни над ними, ни над ним. Исправлять нечего. И осуждать нечего.

Опять папа пропал. Мне почему-то очень этого хотелось.

И вот мы спустились, как поднялись. В тёмной комнате не было женщин — они слепили уже свои памятники пельменям. Огромный пёс с лапами, помазанными зелёнкой, проклацал когтями по паркету и обнюхал нас нехотя на пороге светлой прихожей.

«Папа, ты где пропадал?» — услышал я.

Я был пойман врасплох. Старец сидел в кресле и читал газету, без очков. «Все зубы целы...» — подумал я. Он отложил газету и рассматривал нас, спокойно выжидая.

Удрать уже не было никакой возможности.

Мы заулыбались.

...Он сидел в квадратном кресле, на нём была широкая, чёрная (в тон кресла) блуза, спадавшая так свободно, словно ничего под ней не было, никакого тела. Голова как бы существовала отдельно и была много красивей, чем на портретах, даже чем на автопортретах. На портретах лицо его выглядело несколько бабьим и чересчур старым. Здесь он был моложе, умней и мужественней.

Мы улыбались.

— Это, папа, ты знаешь, — предупреждая всякие недоразумения, говорил сын, показывая на моего спутника, — это наш знаменитый режиссёр с «Арменфильма» такой-то такой-то (Так Такотян)... Ты его хорошо знаешь.

Отец посмотрел на Така Такотяна ясным и приветливым неузнавающим взглядом.

— А это... — сын указал на меня и сделал заминку для подсказки, — наш гость... — он взглянул на Такотяна.

— Поэт из Ленинграда, — подхватил Такотян.

У меня есть имя, и я не поэт, но тут вдруг, и это было чуть ли не открытием для меня, я обнаружил, что, по сути, это неважно. Моё имя по сравнению с его именем было равно нулю; моя жизнь, хотя бы по длине, по сравнению с его жизнью была равна зачатию; по сравнению с количеством людей, прошедших через его жизнь, моё количество было равно одному далёкому знакомому, причём этим знакомым был я сам. Ну какая разница, думал я, что я — прозаик Битов, а не безымянный поэт «имя им легион»? Это было

полезное переживание: я вдруг понял, что имя мне — легион, что слово «поэт» и слово «Ленинград» говорят обо мне гораздо больше, чем имя. Я ощутил себя в истории и легко потерялся в ней. «Что в имени тебе моём...», «Исторической ценности не представляет, самостоятельного значения не имеет...» Я был представителем эпохи. Между нами была эпоха. Быть известным ему не представлялось мне возможным. С равным успехом я мог бы помечтать, чтобы Лев Толстой дал мне «доброе пути» в «Литературной газете». Это была встреча во времени по Брэдли.

Старец посмотрел на меня с интересом, которого я явно не стоил: во всяком случае, сиди я на его месте, я бы посмотрел на поэта из Ленинграда с тоскою.

— Из Ленинграда? — спросил он, гениально не придав никакого значения слову «поэт».

Я закивал с облегчением.

Он протянул мне руку. Она вытянулась из пустоты кресла, непомерной длины. Только у стариков бывают такие прекрасные руки, похожие на осенние ветви и похожие (настолько!) на их лица, только у много потрудившихся стариков... Я трусливо поместил ветхую его ветку в свою мясистую лапу, и он смело её пожал.

— Как ваша фамилия?.. Я не расслышал.

Я стал вспоминать свою фамилию. Старец нетерпеливо взглянул на сына.

— Вúтор, — подсказал Такотян.

— Так? — старец взглянул на меня.

— Битов я, Андрей Битов! — воскликнул я в отчаянии.

— Битов... Битов... — старец с сомнением покачал головой. — Ты русский? — вдруг пристально спросил он.

— Русский... — ответил я неуверенно.

— Русский-русский? — заточил он вопрос. Тут я что-то начал соображать.

— Русский-русский, — решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек.

— А то, — сказал он задумчиво, и рука взлетела вверх, очень далеко, и оттуда медленно, как лист, стала падать, — поляки, французы, немцы... а где русские? — снова стремительно спросил он.

— Да, да... Где? — повторил я, моргая.

«Откуда поляки? Какие ещё немцы?!» — с крайним недоумением думал я. Однако удачно и ловко предал я немецких бабушек!

Мы сели в предложенные нам кресла.

Станный и неуместный восторг овладел мною. Так вот же о чём я непрерывно, мучительно думал с первого шага своего по Армении! Именно об этом! Вот что так тревожило меня. Есть страна Армения — я брожу по ней, вот она. В ней живут армяне. Вот они. Армяне — это армяне. Армяне — есть. А я кто? Русский? Ну да. Никогда об этом не задумывался... Меня мучило сравнение, вот что. Как я не догадался! До самого ведь конца так и не понял, что же так беспокоит меня в наблюдении иной страны. И вот надо же, первые слова, что услышал от старца, показались мне именно об этом. Именно он сказал мне их первый. Действительно великий старик.

Стоп! Куда-то меня занесло... «Поляки, французы...» Откуда он немцев-то взял? Никакой гениальности, даже сомнительной, в его вопросе нет. Что я-то всполошился? Русский, не русский... Стоп.

Тут самое время сообщить следующую мысль. Конечно, неплохо бы усвоить некоторые уроки отношения к своей истории, природе, традициям — это вопросы общей культуры. Но принцип нашего национального существования отличен от армянского, и национальное самосознание строится по иным законам. И главная роль в этом отличии

принадлежит арифметике. Всё упирается в число. Нас — много. Нам некому и незачем доказывать, что мы есть. Все, кроме нас, это знают. Что тут делать?.. То, что прекрасно в маленькой стране, благородно и вызывает восхищение, не может быть в равной степени и в той же логике отнесено к стране большой.

Это похожее на оторопь соображение посетило меня у подножия старца. И если он не подсказал мне эту мысль, то наваял, пусть невольно. Я благодарен ему, что мысль эта сидит теперь во мне как гвоздь. Может, его заслуги в этом и нет, но то, что голова моя как-то особенно заработала в его присутствии, я тоже готов отнести за счёт его величия.

Такая простая, прямая, последняя (или первая?) точность — удел лишь великих людей (и неважно, какой он живописец). Как нелепо было с моей стороны рисовать себе образ великого человека на основании собственного опыта! Я ставил себя на его место... Это всегда пустая затея. Никого ни на чьё место не поставишь — у каждого своё. Тем более у великого — совсем уж единственное. Как же я мог, невеликий, представить себе величие? Только увеличив самого себя в несколько раз. Но, увеличивая малое, можно создать разве громоздкое, но не великое. Тут другие законы и категории, неизвестные мне, никогда не знаемые. Великий — это в любом случае другой человек. Уж во всяком случае — не ты. Можно представить себя с небольшой долей воображения на его месте. Но это будешь ты на чужом, не своем месте, и ты себе сразу не понравишься, усталый, равнодушный, пресыщенный, и заранее испытаешь антипатию к великому человеку. Будто величие было целью хоть одного воистину великого. Одну мелочь я забыл учесть, рисуя себе великого человека: то, что он — великий. Не поставленный надо мной, не утверждённый свыше, не выдвинутый обществом, как староста... великий — его качество. Ему интересно моё имя именно потому, что ничего, кроме имени и принадлежности роду человеческому, у меня нет, что бы обо мне ни говорили и что бы я сам о себе ни думал. Ему интересны моё лицо, и голос, и жест. Ему Я интересен. Потому что он знает меня, давно, уже знает. Ему не надо узнавать про меня. Он может сказать мне что-то, именно мне, потому что другому ОН бы сказал другое.

Скептицизм мой рухнул, обдав меня моей собственной старческой пылью. Старец был моложе меня и потому-то и прожил так долго.

Тот же пёс проклацал по полу и улёгся у ног старца, разложив по паркету свои зелёные лапы и непомерный мужской мешочек. Старик ласково посмотрел на это чудовище.

— Старая уже? — спросил я с фальшивым сочувствием.

— Нет, совсем молодой, — ответил старик, и тогда я увидел, что и действительно совсем молодой ещё пёс. Просто старик был так стар, что и собака его казалась старой.

Сын старца откланялся и пошёл в институт, где он, кажется, декан. Такой милый, интеллигентный, старый уже сын, с чёрным, трогательно потрёпанным портфельчиком... Отец поморщился и взглядом не проводил.

— Молодые непонятные пошли... — сказал отец сокрушённо. — Вот куда он опять ушёл? На службу? Что они там делают? Что все делают? Что делает крестьянин — понятно, что делает художник — понятно, что делает он, — старец ткнул пальцем в окно, где в люльке висел маляр и докрашивал его новый дворец, — тоже понятно, хотя и не совсем. А вот что они делают — физики, капиталисты, китайцы, фашисты — кто они такие? Что они делают? Что делят? Едят, пьют, ходят, спорят, заседают, получают зарплату — а что после них остаётся? Вы слышали про атомную бомбу? — спросил он тревожным шёпотом, наклонившись ко мне (Такотян ухмыльнулся уголком рта). — Ведь это страшно, так страшно! Ведь сейчас, вы мне поверьте, мне один сведущий человек говорил, — сейчас уже такие штуки выдумали!.. Газы... Представляете? Чтобы всех людей — газом!

Я подумал, что этот, казалось, не получающий информации старик опять точнее нас

всех, осведомлённых. Ведь мы-то уже привыкли. Угроза нам так близка, и так уже давно близка, и так хорошо известна, что это уже и не угроза, надоевший шум, мешающий нам, занятым людям, заниматься делом... А чем мы заняты? Каким таким делом — спохватиться бы... А вот он как стар, а всё помнит, что — Земля, что живут на ней люди, что ничего нет прекраснее жизни и священнее её и что она должна сохраниться, жизнь. Он помнит последнее (или первое?), главное. И говорит свои последние простые слова, их немного, их несколько. Но каждое из этих последних слов на девяти столетнем столбе жизни, в самом первоначальном, живом и прямом значении. За каждым из слов такое золотое обеспечение достоинством прожитой трудовой жизни, что не верить этим словам нельзя, и, значит, это самые верные слова на свете. Господи, одни и те же слова, затверженные до непонимания, вдруг снова оживают, проскальзывают, как серебряные рыбы, в заросший тиной пруд и бьются там, живые...

— Один, только один есть выход, — говорит старец, — пространство!.. — И опять рука его взлетает куда-то высоко-высоко. Этот жест тем более завораживает меня, что стремительное это порхание длинных древесных рук происходит относительно абсолютно неподвижного, отсутствующего под блузой тела. Он мог и не говорить слова «пространство» — так точно передала его рука это понятие. И тут я понял про живопись то, чего не понимал никогда: что живопись — это движение. Только у живописца (не у актёра, не у пианиста) возможен такой жест при слове «пространство». Я вижу застывшую картину, статичную, на стене, и на ней всё остыло. Она мне кажется нарисованной, а она — написана. Живопись — это след движения, вот в чём секрет, догадываюсь я. Взмах руки, след мазка. И если живопись прекрасна, значит, движение прекрасно. Вернее, если прекрасно движение, значит, прекрасна живопись. Живопись — это движение... думаю я.

— Пространство... — говорит старец (взмах руки, след мазка). — Земля стала такой маленькой, Нет, это я не образно говорю. Это на самом деле, физически так. За мою жизнь Земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяснить это перенаселением или связью, радио там, самолётами, ракетами... Она крохотная, наша Земля. Это же сигнал, её уменьшение, — его только понять надо. Раньше она была огромная, трудная, неприветливая — теперь, иногда мне кажется, поместится на моём дворе... Ну как не понять, что это же призыв в пространство, такое её уменьшение! Земля — это только площадка. Космос — вот будущее человечества. Пространство... (Взмах, взлёт, мазок). Вот назначение человека! Тут-то нам и надо всем это понять, чтобы овладеть им. Очень, очень тяжело овладеть пространством! И если мы все не объединимся для этой цели, то ничего не получится, и мы погибнем. Всё, что было, — предыстория, мы прожили наши несколько тысяч лет, чтобы встать перед такой задачей. Это ведь и была цель человечества — пространство! Запомните, — сказал он, видя, что Такотян встал (он успел мне шепнуть, что нам пора уходить, а то старик очень устанет, разговорившись), — запомните, я вас буду тогда считать своими миссионерами, — он улыбнулся виновато, — и всем объясняйте, что наша цель — пространство! В этом наше божественное назначение.

...Некоторое время мы шли молча. Такотян раздражал меня, мне хотелось побыть одному, с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Такотян начнёт сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, нисколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что:

— Ах, что бы с нами было, если бы его не было? Нельзя представить. Словно и нас бы не было.

Конец (звонок)

Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв её из виду. Цель у меня сейчас — уже только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним. Всё шустрее и невернее, с перебоями. Позванивает, нарываясь на конец строки.

Очерк, акнарк, намёк...

Очерк намечен, очерчен.

Господи, удержишь ли ты меня за правую руку?

Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уже не хватало сил стараться ещё и быть понятным. Я рискую быть непонятым и русскими и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую быть непонятым, адрес мой двойствен и неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или ещё хуже знает Армению, и тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же — оно зрелее у меня — более, быть может, будет понятно армянам, чем русским...

Я очень мало знаю Армению и ни на что не претендую. Поэтому-то и возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства, Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал и не построил его иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, «её не победит рассудок мой».

Свою-то родину я знаю, по крайней мере постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете, — а как ещё что-нибудь можно знать лучше? По сути, эта моя Армения написана о России. Потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник? Сравнивает с родиной, удивляется несходству: тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало. И лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится...

Но уж и Армении я обязан! И если я вернул хоть каплю той любви (конечно же, не гостеприимство, нет!), которой она меня столь настойчиво обучала, а именно — любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова, родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину... В чём-нибудь это легче нашей «странной» русской любви.

— Я дал себе слово, — сказал мне однажды мой друг, — что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего...

И как я согласился с тобой!

И всё же — грешу, грешу...

Но — старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что всё со мной так и было. И в той самой последовательности. Даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирало всё силу, и именно в такой последовательности: сначала мне не очень нравился Ереван (если бы не мой друг, то и совсем не нравился), а потом самым сильным физическим впечатлением был Севан (я заболел), а духовным — Гехард, именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлётом посетил старца, а после этого визита должно уже было вернуться домой: внезапно всё обрело свою законченность.

Всё могло бы быть и ещё законченней... Задержись я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию, и тогда был бы обязан Армении ещё и звёздами. И до чего бы точно это сейчас сюда легло вслед за старцем и его напутствием в

космос! И повествование моё преодолело бы земное тяготение, а в ушах читателя ещё долго звучал бы последний космический аккорд, даже, после того, как он закрыл и отложил этот учебник. И долго бы смотрел он вслед моей ракете...

Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за десять дней?.. Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты... Да что говорить! Даже в погребах великого треста «Арарат» я не побывал и не попробовал!.. Я не видел многого из того, чем гордится Советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка — огромное расстояние. Но так же далеко и энциклопедическому очерку от моих заметок!.. Правда и гармония первого впечатления — достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним (первым впечатлением) простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега...

Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, — и в этом уже её содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал её больше года — я прожил в Армении около двух лет.

Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого же мне занять столько времени?..

Да, задержись я в Армении хотя бы ещё день, читал бы сейчас читатель «Урок астрономии»! Но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна — та, что есть, а всё остальное неточно.

Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию.

Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы. И в этом — своя точность.

1967 – 1969

*Отсканировано со страниц альманаха «В тёплой тихой долине дома. Проза об Армении» (сост. А. Баяндур). Москва, «Молодая гвардия» 1990. Явные опечатки исправлены.
Сканирование, OCR — Айвазян Владимир*